МАРЦЕЛИЮС МАРТИНАЙТИС



БАЛЛАДЫ КУКУТИСА



МАРЦЕЛИЮС МАРТИНАЙТИС

•

БАЛЛАДЫ КУКУТИСА

СТИХИ

Перевод с литовского

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

С (Лит.) 2
М29

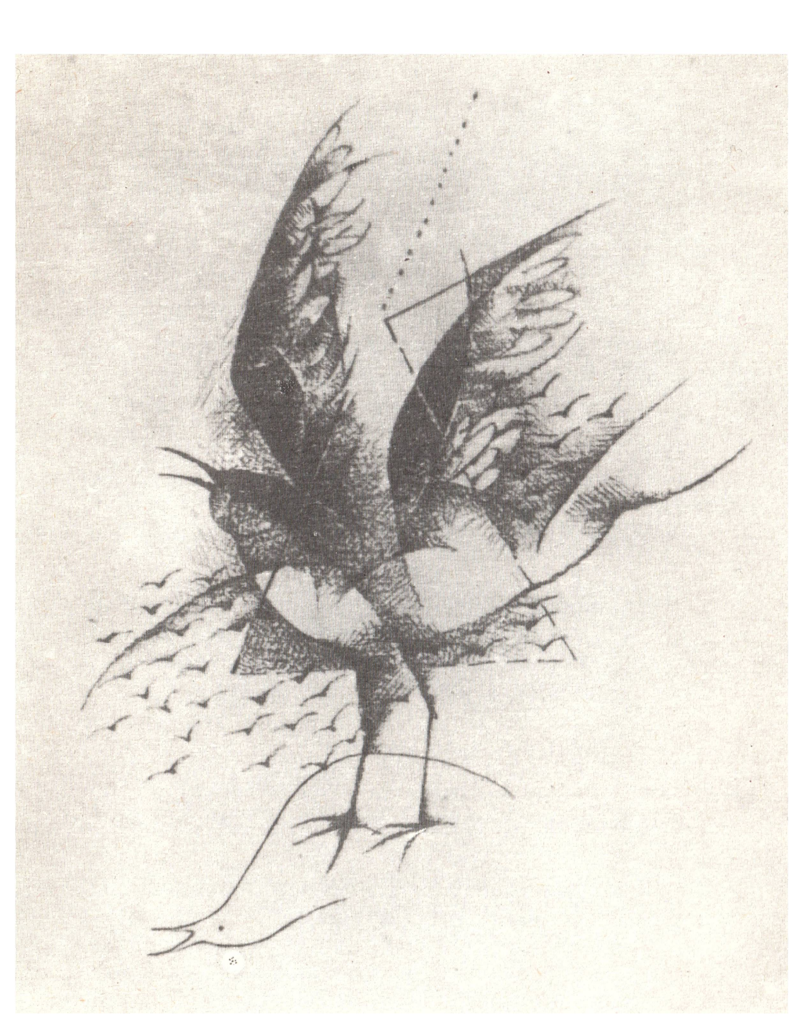
Марцелиюс Мартинайтис — замечательный литовский поэт послевоенного поколения. Книга «Баллады Кукутиса» — первая, с которой он предстает перед всесоюзным читателем.

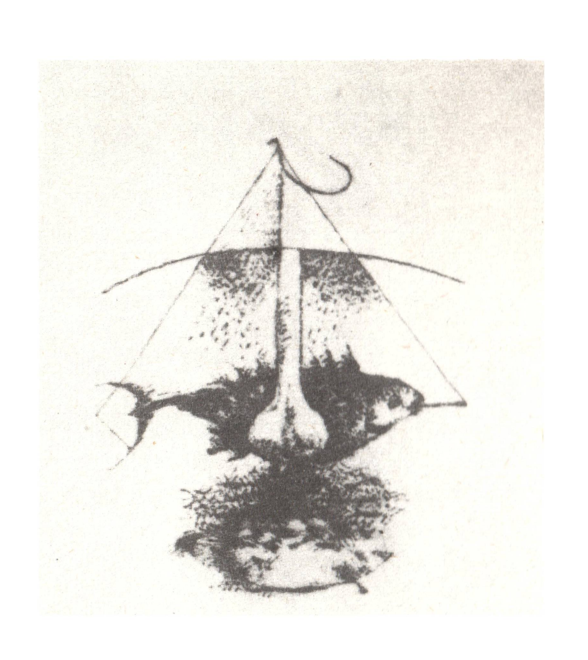
В «Балладах Кукутиса» слышится доносящийся из глубины веков чистый голос народной культуры, в них читатель соприкасается со сложным комплексом морально-этических проблем нашего времени.

Кроме баллад в книгу вошли лучшие лирические стихотворения автора.

Художник ТАИДА БАЛЬЧЮНАЙТЕ

М $\frac{4702360200-673}{083(02)-83}$ 319—83





1. ВЧЕРА И ВСЕГДА

ИКАР И ПАХАРЬ

Падал Икар. И большая крылатая тень
Мчалась по скалам, долинам, по плоскому морю.
Плавился воск его крыльев от близкого солнца, а руки
С тщетным усильем хватались за воздух.

Пахарь по склону всходил, словно вспахивал
почву столетий,
Мерно шагали волы, прирученные игом и плугом.

Падал Икар, приближался он к тени своей,
Падал туда, где стада и где пахло овчиной.
Маленький пахарь шагал за упряжкой жучиной.
Синее море мерцало под солнцем, а волны
Словно застыли.

Пахарь спокойно шагал за быками и неба не видел.
Крика не слышал — на землю глядеть он приучен.

Падал Икар, как бывает у нас в сновиденье.
С воем неслось к нему море, и близился берег.
Он безнадежно цеплялся за воздух в паденье.
Руки раскрыв для объятья, ждала его тень.
Опередил он какую-то птицу, и сам себя обнял,
И в море упал.

Пахарь спокойно шагал за быками, не видел, не слышал.
Пахло землей, и отвалы блестели под солнцем.
Плуг отряхнул он в конце борозды и волов
отпустил попастись.

Сам же в траву прилег и, увидев какую-то птицу,
Придумал Икара.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Сумерки — будто крылья летучей мыши,
глубоко в листве
сухо потрескивают кузнечики,—
будто косы правят светящиеся человечки —
завтра лето падёт.

Во мшистой густой тишине столько улиток...
Как маленький муравьиный жертвенник,
светит гниющий пень —
душная ночь, грибная.

Пульсирует сладкая теплота,
словно дышит в лицо
кто-то живой и огромный...
А за холмы
в позабытый колодец упала звезда — умерла
божья коровка.

При свете гниющего пня,
как подарок земле,
поднимаю горячую руку —
завтра лето падёт.

* * *

Мысли мои — голубые просторы —
синь и пространство, под стать небосводу.
Сегодня я словно бы пленник, который
снова вдыхает свободу.

Мнут прошлогодние травы могучие ветра копыта,
иду по дороге, с ветром обнявшись тесней.
Рыдает зима.
Снег увозят убитый —
слякоть приходит к весне.

Только прикрою глаза я — и словно косули дыханье
запах доносит деревьев и трав.
По полю кони бегут — рыжих грив полыханье
на свежих апрельских ветрах.

О, как много жизни! Так вот она, воля!
Закину я голову — небо разглядывать буду.
Как малый ребенок вот так заблужусь в чистом поле
и имя свое позабуду.

* * *

Пахнут цвета и руки.
Пахнет сено ливнем и сном.
Красные птицы
летят против ветра
прямо к закату.

Ребенок, зажмурясь, поет
перед закатным солнцем —
он хочет выкрикнуть гаснущий свет —
и хрипнет.

Опускается ночь,
сложив теплые просторные крылья,
и гладит веки ребенку:
его забытье ночное
пропахнет аиром.

А в темных полях, будто копны —
стоя спящие кони,
и сон — как босой мальчуган —
уходит по лунным крышам.

* * *

Скрипит журавель деревянный, как будто прощаются
птицы,
кажется, словно летят журавлиные стаи,
а мы доброты начинаем стыдиться —
друг другу в глаза смотреть перестали.

Листья покрыты сплошной желтизной нездоровой,
притихла природа — ей словно ушедшего жаль.
Какое-то дерево мучают в роще сосновой —
удары жестокие будят спокойную даль.

* * *

Если я дерево, которое срубят,—
вы не делайте из меня
поленьев и кольев.

Лучше сделайте мост через речку,
калитку или порог,
над которым встречаются руки.

* * *

На руках трудовых
мои реки и взгорья,
на руках трудовых —
земная усталость.

На воскресных руках —
венки и листья,
на вечерних руках —
далекие шляхи.

А на летних руках,
на летних руках —
с очами смеженными
несут меня горы.

На осенних руках
держу я порог,
на осенних руках
я успокоюсь.

* * *

Шум старых деревьев похож на журчанье воды,
над крышами месяц висит позабытый.
Здесь: книги, трактаты о бабочках, ты —
божья коровка быта.

Я приучен сидеть молчаливо, как тень,
как будто Никто я — огромный, крылатый.
Пробежал я листы инкунабул и стен —
и снег увезли ноздреватый.

В лексиконах древесных я слово хочу отыскать —
доберусь до его высоты настоящей.
Сижу в темноте, и мне сердце сжимает тоска,
словно я вымирающий ящер.

* * *

Выйду и буду искать
небо над рожью,
деревянную правоту порога,
песок усталости,
хрустящий
в окоченевших суставах.

Выйду — вымаливать униженье,
голода буду просить —
как последней награды.

Буду искать небеса
в глазах —
над проезжей дорогой,
буду идти — и у всех
выпрашивать имя.

* * *

Уже догнать я не сумею никогда
свои глаза, и свои руки, и года,
я по утрам уже угнаться не могу
за дымной далью и за крышами в снегу.
Я знаю, что отстал от времени давно,
в котором мне и жить и мыслить суждено.
Уходит все, чего касается рука,
о чем без мыслей буду думать я, пока
минута не придет, пока не минет срок
и жизнь мне горло не охватит, как вьюнок.

* * *

Оправданий нет у меня
перед этой летнею ночью,—
даже сена для нее не накосил,
даже косу на яблоню не повесил,
даже окошка нет у меня, чтоб распахнуть его
навстречу лунному лучу.

Не вырастил я для ночей
ни единой животины —
потому и некому в темноте
побрякивать цепью.
Нет у меня
даже самой простой бадейки,
чтобы поставить ее для ночи
на край колодца.

Как я бесполезен
этим ночам —
не положил даже висячего мосточка:
оттого мне и думать не о чем,
опершись о перильца,
и вздохнуть даже не о чем
в эту высокую летнюю ночь.

ПЕРЕД ЛИВНЕМ

Белые аисты жмутся к тучам неторопливым,
кружат и кружат — будто прощаются, улетая навек.
Мальчик у леса кричит — может быть, перед ливнем,
ветер идет, как озноб, по сухой траве.

Стемнели дороги, лишь во поле светит суглинок —
один обреченный колодец кого-то зовет осторожно.
Мальчик у леса кричит —
и не слышно иволг,
и так пустынно,
что умереть — невозможно.

* * *

Скоро, скоро
поникнет рожь,
приговоренная к жатве,—
скоро-скоро —
все думаю —
туда,
за окно,
где побледневшее поле.

Больше всего я не знаю: кто я
во время жатвы,
когда всё так распахнуто.

Откуда это?
Во время жатвы —
просыпаюсь каждое утро
с косой в руках.

Просыпаюсь — будто иду
далеко-далеко,
далеко от колосьев.



* * *

На свежий, до сини отстиранный день
солнце набросит красную тень.

Дреме полуденной, песням людским
время ответит стоном глухим.

Пыльные травы застынут, полны
боли, вниманья и тишины.

По небу месяц пойдет стороной,
а солнце исчезнет вместе со мной.

В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Любители первых цветов, обойдя заповедные тропки,
приносят букеты с цветущих холмов и низин,
а ты стоишь у стены, как цветочница робкая,
как сельская девочка возле дверей магазина.

Сейчас позабудь про меня — словно снежная корка,
ни пропасть, ни остаться я не смог по весне.
Колени обняв, ты сидишь утомленной танцоркой —
засохшая бабочка в забитом на зиму окне.

В первый солнечный день захотелось и жизни мне
синей,
но вместе и счастье и боль не удержит рука.
Меня позабудь, как цветочница у магазина,
у которой знакомых нет в городе наверняка.

Как будто бы видит еще голубое раздолье
любителя первых подснежников взгляд...
Колени обняв, ты сидишь — на невидимом поле
пасешь моих нежных желтых гусят.

* * *

Как устану — положи
мне на сердце запах ржи,
теплоту, какую очи
проливают; сладкий, отчий
дым домашний. Положи

все дороги, всех идущих,
всех, в руках цветы несущих,
положи ребячьи дни —
и звездою осени.

Ты прижми платок — и выжми
боль земли, полей и жизни
и холмы, и рубежи
мне на сердце положи.

Если ничего не будет
у тебя — пускай разбудят
мысль во мне. Ты плачь о нас —
до прозренья моих глаз.

БЛИЗОСТЬ

А ты уже руки отмыла от летнего света,
огонь развела, чтоб нам легче молчалось с тобой.
По ложу прапрадедов мертвых тени бегут несмело,
былой огонек доцветает — усохший, больной.

Лицо у лица — как склоненные над колыбелью
больного ребенка. И слов твоих я не найду.
И тусклый покой, заполняя луга, голубеет,
и скалкою дети колотят солнце в пруду.

О чем говорить — слова уже словно деревья,
всё шире пути — никому не укрыться от них.
И только огонь — он как малая родина греет —
не умрет в ладонях твоих.

ШТОПАЯ ВАРЕЖКУ ПОГИБШЕГО СЫНА

(Поминальное рыдание)

Выплачу белое — к черному.
К зеленому — красное.
Лежат ноженьки
Возле Куршаса,
Коченеют ноженьки
В Пруссии.
Из белого будет дорога,
чтоб ты пришел по ней.
Из красного — утреннее солнце,
Чтоб ты видел,
Чтоб ты слышал,
Как солнце плывет...
Из зеленого трава прорастет.
Пусть ее косят.
Из черного надпись появится
На белой дороге,
На длинном письме,
На крыле пролетающей птицы.
Выплачу белое — к черному.
К зеленому — красное.
Принесут рученьку
Из-под Пруссии,
Придет ноженька
Из-под Куршаса.

* * *

Осенью
моя душа
от меня отдаляется —
меня и не помнит.
Прячется,
робкая,
за деревьями.

Душа у меня
неграмотная.
Она меня не читает.
Мои буквы
сквозь пальцы
сыплются,
как песок.
В детской
длинной рубашонке до пят —
она плачет
и сама не знает,
что плачет.

* * *

Всё пропитано осенним ядом,
в мерзнущую землю — ливень лег.
Черным, словно торф, ночам горбатым
страшно — посреди обугленных дорог.

И ни птиц, ни стад, и бесполезна ласка,
и умолкла жатва — шумная родня.
И о ком жалеть — ни одного подпаска
на краю полей
у слабого огня.

* * *

Беда,— когда звон тишины и снежная дрожь,
колючая проволока: мороз.

И снова морозный огонь. Всё молчит, как погост.
При солнце мороз-часовой — во весь рост.

На худеньком девьем плече — голубок ледяной,
ждет смерти она, как любви, под стеной.

Гнетет и болит — грязь промерзла до белых костей,
но теплые крылышки крови колотятся в ней.

И жизнь поднимается, стылой стрелой пронзена —
и с болью стоит, на стрелу опираясь, она.

* * *

Ты не мои глаза видишь.
Ты видишь горизонт,
отделяющий землю
и отделяющий небо.

Ты не мою речь слышишь —
ты к собственным мыслям прислушиваешься,
а их голос
тебе всегда
мой напоминает.

* * *

Распогодилось, как по доброму слову,
на лике небесном
разгладились морщины.
Всё так — словно живешь впервые
после долгого, тяжкого пребывания в смерти.

Вновь хочу
научиться ходить:
придерживаясь за деревья,
пересечь двор
и замереть
от внезапного, нечаянного запаха полей.

Вновь хочу
быть безграмотным, темным,
и пасть в слезах, и уткнуться в землю,
как в теплую
открытую книгу.

Вновь хочу,
укрытый ласковой рукой,
не разуметь правды —
пусть доброе слово
с любовью меня убьет,
пусть жалость
ничком повалит на землю.

* * *

Вчера и всегда
над вербой у края пруда,
над миром, где плачут цвета,
и речь, и леса, и вода...

Над светлой дорогой и тьмой,
над возвращеньем домой —
только вчера и всегда,
вчера и всегда...

Над камнем сторожевым,
над всем неживым и живым —
вчера и всегда
над вербой у края пруда...

* * *

Какие чистые дни
в добром месяце мае.
Солнечный ветер веет,
тихо борозды светят.

Люблю — этот ветер без гнева,
синюю дымку неба,
белые льдистые росы,
сок озябшей березы.

В ласковом месяце мае —
столько скворцов повсюду,
на небе теплая пена,
на воду падают перья.

Травы на ровном склоне,
у белой просохшей дороги
дети, стада и стаи —
в воду ступает аист.

Какие легкие дни
в ласковом месяце мае,
аист в небесных водах,
синева глубока...

* * *

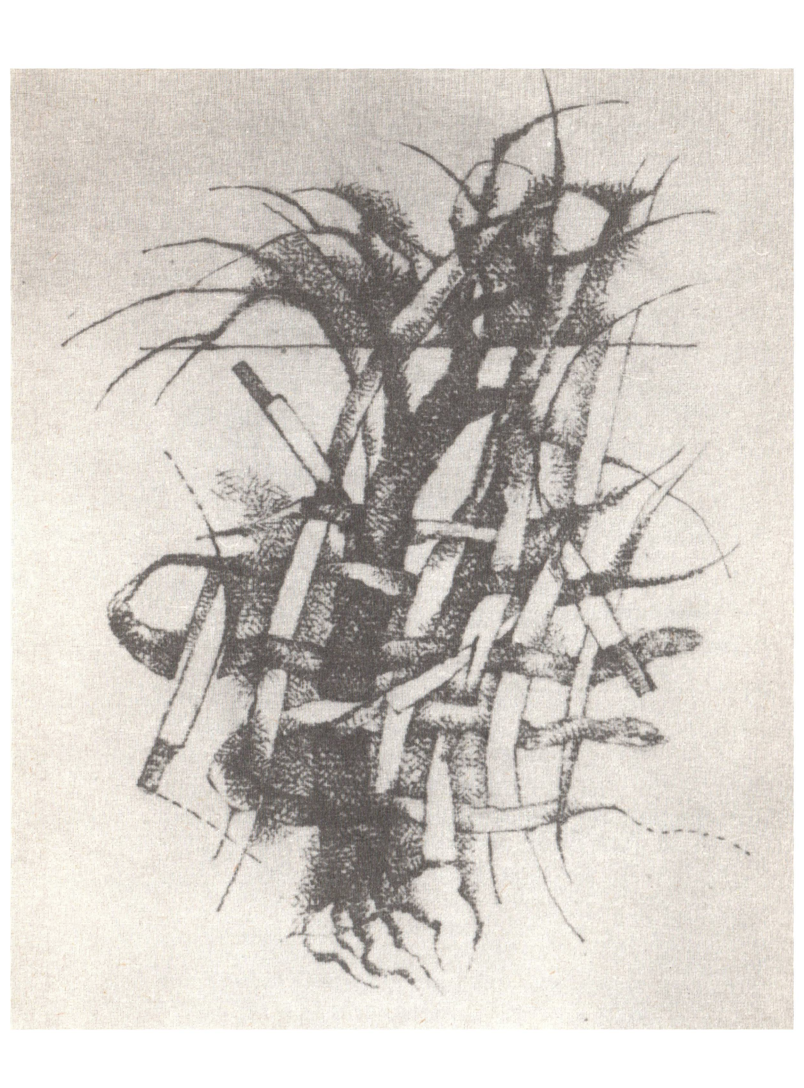
Какой огромный день у меня —
с нимбом ржаным вокруг солнца;
а как дети его подросли —
столько стогов среди поля!

Как неоглядны его глаза!
Как велики дороги!

А колеи какие — глубже лета,
глубже высокого дня,
глубже ночи...

Как спокойно и необъятно его дыханье,
когда горячо и устало шепчет:
    всё обойдется, и будут
    единственные колосья —
    те же колосья,
    единственные слова —
    те же слова...

Когда холмы на равнине
затуманит близкая дрема,
когда сумерки теплых полей
упадут на лицо, как ржаные пряди,
прислушаюсь:
какое большое сердце у дня моего —
людное и гулкое сердце.



* * *

Нет, там не пожар и не детство,
там просто багряное небо,
такое багряное, словно
солдат умирает в бою.

Прислушиваешься к восходу,
туда, где вставала отчизна,
воспетая — встала на крóви,
изранена кровью твоей.

И там твой огонь; он пробьется,
взойдет из души, словно маки.
Услышишь: умершие шепчут
там — за спиной — как хлеба.

И сам не пойму я: мне грустно
иль красное солнце садится —
как будто я ранен навылет
и песней твоею отпет.

* * *

Погоди, слеза, еще не время
скатываться на песок,
чтобы тебя зарыли.

Йз дому не уходи,
не покидай мутнеющих очков,
поминаний посреди застолья,
нескончаемых — как четки —
хлебных, земляных трудов.
Догони ушедших, горячо
расцелуй их в ноги.

Маленького не оставь, из этих глаз
проведи его следы к земле и в землю,
и к слепым войди, у них —
ты единственное зренье.
Смилуйся над нами —
над увечным,
над счастливым...
Стебель клеверный пригни и улетай
к дому,— ты коровка божья,
наше теплое живое око.

Ты, слеза, помедли
у дороги,
повстречай и малых, и великих.
Ты единственная мудрость всех,

кто не знает грамоте. Спустись
на открытые ладони.

Ты спешишь, слеза, ты так спешишь,
и ко всем идешь, и всех обходишь.
Вот — бредешь босая по лицу,
как по вырубленному
пустому саду.

* * *

Руками я не вижу в темноте,
не слышу я, откуда вдруг приходит
трава и под ноги ложится.

И только ночь к лицу приникнет,
и только с ветки яблоко спорхнет,
словно душа, что расстается с телом.

ДЕТИ ИГРАЮТ В БЕДУ

— Помогите бездомным детям!
Дайте хотя бы залатанную одежку:
мы не умеем кормиться
одним ломтем хлеба,
поделенным на всех.

— Может, у вас найдется
тиф или чахоточный жар?
Мы не умеем играть
волосами замученных братьев
и согревать по ночам
их стынущие тела.

— Может, после голодного года
лишний хлеб у кого завалялся?
Вы нас пожалейте:
мы не знаем,
как это хлеб
держат двумя руками...

— Может быть, есть у кого костыли
или ручные протезы?
Не проходите мимо:
мы не умеем играть костылями.

Мы писать не умеем
карандашом, зажатым в зубах,
мы буквы не можем узнать
выжженными глазами.

* * *

Гляжу, как будто я чахоточный — и умирать вернулся:
идут коровы, приминая выменами траву,
овечка стриженая коченеет, жмется
к несмелым девичьим коленям.

Вы, несмышленые, за что меня пугаетесь —
руки не подниму: я связан правотой и жалостью.
Без ненависти, без оружия — открытыми глазами
на вас иду взглянуть, кто я такой.

К моим рукам иду. Они касались
той девочки, ее виска — так трогает слепой
прикрытыми глазами слово,
запоминая смысл.

Отсюда я ушел за правдой,
я думал в ней любовь найти,
но нет любви в моей последней правде,
и правды нет в моей любви.

И больше ничего не понимаю, родина,
я больше ничего не полюбил:
как тут ребенком вырос, так и умереть мечтаю —
пусть ляжет чья-нибудь рука на лоб.

Еще хочу один далекий сон увидеть,
который мне, качаемому белой яблоней, приснился,
и без вины хочу глядеть, как — дрожью по живому —
проходит гибель, будто помысел святой.

Меня, как ссыльного, по лугу провожает одинокая,
потерянная, неизвестно чья овечка.
И вижу: никогда не пересилю расстоянье,
которое уже преодолел.

* * *

Я выронил мысль и слежу за ее
падением медленным в небытие.
Конец переменам,
во мне умирает другой —
ни грусти, ни сожалений — покой.
Предчувствую смерть,
под обрывом гуляет волна:
я вспышкой прозрения вдруг осознал —
из этой коротенькой жизни нас ждет
долгий уход.

ВЕЧНЫЙ МОСТ

Мы шли через мост —
в плащах, раздуваемых ветром.
Шли через мост —
и громко смеялись.

А на мосту стоял старичок
и крошки разбрасывал рыбам.

Мы идем через мост —
ветер плащи раздувает.
Идем через мост —
и громко смеемся.

А на мосту стоит старичок
и крошки бросает в воду.

Вы через мост
пойдете в тяжелых плащах.
И на мосту
будете громко смеяться.

Я буду стоять на мосту —
и крошки разбрасывать рыбам.

* * *

Моя душа не ведает,
что ей делать —
когда она бабочка,
не постигает, доступна ли ей наука —
как быть дождем.

Гляжу на бегущую воду
и не помню,
что значит *не быть*.

* * *

Дождь неустанный
течет по рукам,
вольно и страшно
плывет река.

В зыбкую тину
ноги ушли,
голову сжали
водоросли.

Волосы — травы —
уносит струя,
будто сквозь воду
видишь себя

там, под ладонями —
белой дресвой,
тьмой — под ногами —
вязкой, речной.

* * *

Глазами беглеца гляжу, как угасает вечер.
Но стынущую путевую пыль
я помню детскими забытыми следами.
Я очень долго шел домой —
из будущего шел,
не в силах выпутаться из моей свободы.

Уже забытый всеми —
падаю в траву:
так рекрут прижимается к земле и плачет,
вымаливая для себя исчезновенье.

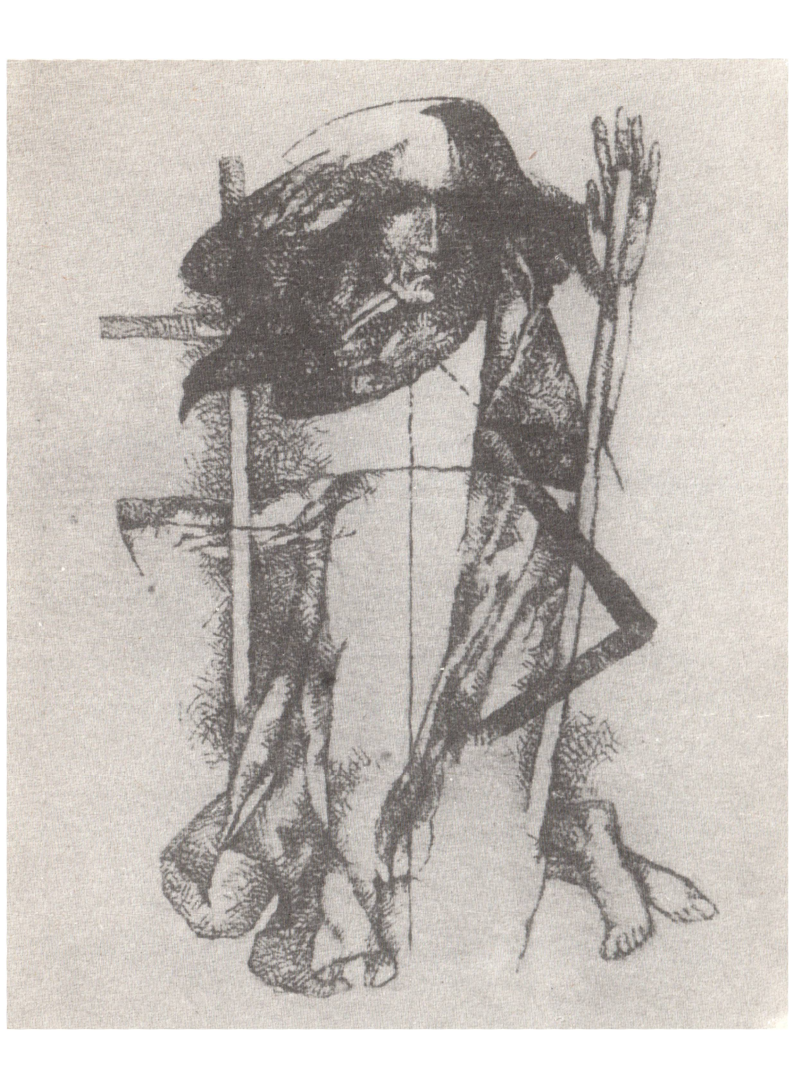
Уже по смерти там:
в любом дому лицо мое прикрыто
и руки связаны,
чтобы я не тронул самого начала
былинки.

Нельзя, чтобы растенья научились мести,—
злопамятна моя всемирная свобода,—
нельзя,
чтобы они росли, глазами злоумышленников глядя
в глубь нас:
они на память знают нашу кровь.

На свете я свободен от всего на свете,
а тут — закован в позднюю ржаную желтизну,

глаза бессильны перед молчаливым
рождением цветка.

И птичьи крики — будто волокут злодея по земле,
как будто по темнеющим долинам удаляется прозревшая
душа,
и вслушивается росток: и родина —
как кровь на спекшихся губах.



* * *

Снег такой,
будто знаю,
что меня уже нет.

Так мне больно и сладко
от этих лет торопливых —
будто давно закопали меня молодого
с любимой у самого сердца.

* * *

Воскресенье из тебя получится
с дверью прямо на большак, и с вишнями
у тебя в подоле, и с ромашками —
сорванными пальцами ног.

Также полночь из тебя получится
с белою рукой — белее всех дорог.
С воскресением через меня перехлестнешь,
как вода через порог.

И вся жизнь из тебя получится
с дождиком вокруг больших полей.
Ставни отворя́тся, словно голос,
мохом заткнутые мягким, словно слово.

Выйдет из тебя и моя горечь —
словно песня с вербой у дороги.
Руки переполнятся заботой
с тихими воскресными глазами.

* * *

Не раскрыла глаз еще весна,
луч слепой, не потревожив сна,
нежно
промелькнув на голубом снежке,
как мураш пробрался по щеке.
И великолепный хор ростков,
синий пробивающих покров,
распевает жалобно и тонко
голосом убитого ребенка.

* * *

Солнце — сквозь облако,
мать — сквозь окошко.
Сколько детишек —
что колокольчиков!

Эти — ягнятки,
те — овцепасы,
третьи — телятки,
пятятся задом.

А над водою —
ивы да вербы,
тени соцветий,
шмели да пчелы.

Звон и жужжанье
доброго утра —
в глуби озерной
плавают тучи.

Вверх все живые
головы подняли,
мертвые — в глу́би,
глубже земли.

Мать — как с картины
Святого семейства:
всюду день отдыха,
озеро чисто.

* * *

Липовым прутиком напишут меня
на песке.
Ножиком вырежут на черенке.

Выжгут проволокой
на ларе,
вытешут из чурбачка.

А как же будет мне умирать,
написанному,
врезанному в дерево?

А как же будет мне жить,
выжженному на ларе,
вытесанному из чурбачка?

* * *

Ты придумай мне огонь и вечер
и моей душе придумай думу —
как-то раз такая жизнь приблизилась,
мне и слов для речи не осталось.

Все мои слова равны, а ночи —
ровные, как скошенное поле,
будто всё: мое и мне. И нету
ничего, и ничего не будет.

Доброго не говори, от слова
ничего, мне ничего не надо:
как единая воронья стая
мне слова выклевывают зренье.

Ведаешь, как я прошу, как тихо
говорю тебе так тихо, что не слышишь:
так прошу, как трогает тростинка
ближнюю тростинку, к осени клонимую.

Ты росой мою очисти душу,
пусть светает, пусть от будущего слепну:
ветер эту тьму сдувает к лесу,
огонек сдувает в сторону дороги.

* * *

У жизни короткой
учусь жить привольно.
На праздники — плачу,
смеюсь, когда больно.

Далёко живу,
недалеко еду.
Песни пою,
а слов у них нету.

ВОСПОМИНАНИЕ

Дороги были переполнены...
Старушка,
с трудом различая нить,
ткала и ткала,
а ее полотно
было подслеповатым, темным
и слишком крохотным для этих времен,
а место у стола
и двери были узки,
а сам дом
слишком мал для земли.

И утреннее пробуждение
было слишком маленьким,
и сам я — слишком маленьким
для того, чтобы стоять у проезжей дороги:
и боялся,
увидав
идущих и едущих,
что кому-нибудь захочется погладить
меня по головке.

ДЕТИ СЛОВНО ТРАВА

Дети словно трава. Я могу притвориться,
Что я, скажем, автобус
Или, скажем, медведь.

Как на долговязую шею жирафа,
Младенцы карабкаются на меня.

И просят они,
Чтобы я был солдатом.

Мне это нетрудно —
Ведь я же обучен
Копать окоп
И стрелять из ружья.

Наставив дощатые ружья,
Берут меня в плен.
И к стенке меня — на расстрел.

И падаю я, притворившись убитым.

Мне это нетрудно,
Я видел, как падают люди у стен,
Схватившись за грудь,
Как в поисках чьей-то руки
Цепляются жадно за воздух.
И падаю я, притворившись убитым.

Умолкли солдатики.
Бросили ружья.
Бегут перепуганные
Ребятишки.

И я поднимаюсь, и я им кричу:
— Постойте! —
Кричу им:
— Постойте! Ведь я же медведь!
Поглядите — медведь!

* * *

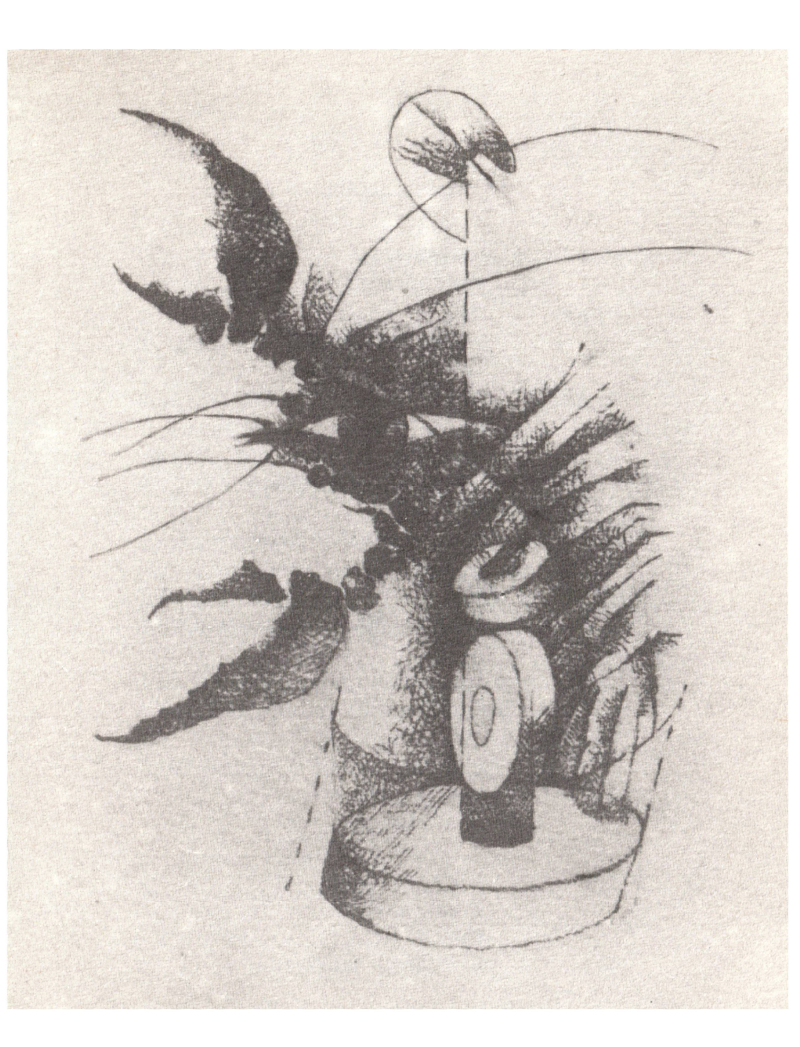
Неужели я опять — ничей —
жить иду из темноты очей?

Это жизнь моя еще не зажила —
или ты меня ужалила, пчела?

Этот свет в глазах — горяч и зрим,—
раненая жизнь раскрыта перед ним?

От небытия излечит — и убьет
в жале спрятанный смертельный мед.

И меня с тобой трава сплела —
горестная летняя пчела...



ФРАГМЕНТ

Поэзия
обращается к тем,
кто
понимает больше,
чем
она может сказать.

Поэзия
живет и для тех,
кто
глумится над ней,
и для тех,
кто
не владеет речью
или
всеми
забыт.

Поэзия
так и живет —
для зверей,
и подсолнухов,
и стрекоз,
и для ранних,
крылатых
и певчих народов.

* * *

Ты свяжи мне, мама, дальнюю дорогу —
из лучей и голосов ее сплети.
И откуда смертные прийти не могут,
я приду по этому пути.

Ты свяжи мне первопуток зимний,
и весну — как сотню мельниц, и былое лето.
Мама, тишину свяжи мне
и леса, каких на свете нету.

Путь свяжи, прямой и млечный —
по нему вернусь из жизни всей.
Ты его свяжи — и я врагов не встречу,
однодневных и пустых друзей.

Ты свяжи мне белых мельниц стаю
над весной, зеленой и сырой...
Ну а если... Знаешь, как бывает —
той дорогой ты меня укрой.

* * *

Вечер прилажу к вечеру,
полдень сложу с рассветом,
а только вспомню о ночи,
и она прикоснется ко мне.

Попробую жить ещé раз,
попробую знать и видеть,—
рукам я учился у света,
глазам научился — у тьмы.

* * *

Время течет беззвучно,
как река по равнине.
Усталое солнце
головою лежит на земле.
Надо гладить ягненка,
чтобы тут остаться отныне,
чтобы выжила речь,
нужен хлеб на столе.

Мыслям зелень нужна —
чтобы слышать,
чтобы мы ощущали сполна
осенние листья.
Здесь так чутко вокруг.
Здесь полей тишина.
И раненый ветер
в грязь готов повалиться.

Нужно жить
здесь, где шелест притихшей речи,
где листок прилипает к окну,
похожий на мотылька.
Здесь, где черный тальник
обожженные руки тянет навстречу —
здесь, исчезнув однажды,
останемся мы на века.

СЛОВА СПЯЩЕМУ РЕБЕНКУ

Я земле не научился,
камень слышать не умею,
даже озера и неба
я не знаю наизусть.

Из огня, земли и слова
не могу сложить отчизну,
солнца я не сосчитаю
и не знаю: сколько это —
человек?

Молвить пламя не умею
и не понимаю тьмы.
Вижу звезды в книге мира —
слов никак не соберу.

* * *

Ты земледелица — душа —
в трудах, в руках беду держа —
Жемайтия́[1], тоска моя,
зеленый склон и колея.

С нейлоновой косой, бела,—
нет за тобой вины и зла.
Кровиночка,—среди беды —
пугливая овечка ты.

Был Запад, и глад, и война,—
Пруссия[2] гарью полна.
В Европе — среди немоты —
ты, глупая овечка, ты...

Ты хлеб мой горький трудовой —
и склон зеленый, ветровой.
Ты тело выпрямишь мое —
когда пойду в небытие.

Закатная моя страна,
идешь вдоль неба, зелена...
Ты земледелица, душа,
стоишь среди полей, дрожа.

---

[1] Жемайтия (Жмудь) — западная, приморская область Литвы.

[2] Пруссия — тут имеется в виду историческая область, левобережье нижнего течения Немана, родина пруссов — народа, родственного литовцам, истребленного крестоносцами-тевтонами.

* * *

Длинный-длинный рассветный хлеб,
как он долог для мертвых:
пока они соберутся,
пока усядутся —
уж и завтрашний вечер.

Приходи, Изидорюс,
пристыди их:
они ведь еще за Пруссию не расплатились,
зерном не расквитались за Неман.

Нет, так не годится,
мертвые,
стыдно бездельничать —
поглядите:
опустело в полях,
как в пропитой голове,
а желтый ветер —
из Пруссии —
слизывает с позеленевших крыш
последнюю горестную солому.

Это оттуда
к мертвым приходит голод:
последний, уже миновавший мор
снова — еще раз —
их воскрешает для смерти.

* * *

Как зреют вишни в Сувалькии[1] —
до слез, до горечи красны,—
и росы острые такие —
стальной, холодной белизны.

И рубят сердце, словно дерево,
до самой жизни, до корней,
а вечерами — так потерянно,
кого-то нет — со мной, во мне.

В тепле живом, во тьме колючей
так тесно свету тишины!
Такая песня, что поющий —
как мертвый: веки смежены.

Разъято сердце болью грозной,
река печальная бела.
И греет ноги прах дорожный,
как на пожарище — зола.

---

[1] Сувалькия — юго-западная область Литвы.

СТУПЕНИ ВО РЖИ

Там, где с мостиков утром роса
стекает по капельке в воду,
в доме бездомном остался я сам,
позабытый на долгие годы.

Замшелые камни я пас до поры,
шел против ветра без страха
и, как птенчика, каждый порыв
прятал себе под рубаху.

Здесь в горстку земли вмещалась Литва,
когда по ней, как по мостику, шли мы.
И осенний покос, как лечебный отвар,
сохранил запах липы.

Зачем же огню распахнули вы дверь?
Как до отчего дома
по ступеням во ржи мне добраться теперь,
одряхлевшему или слепому?

Я посторонний в родной стороне,
возвратившись больным и бессильным,
не присяду с дороги — кажется мне
каждый камень камнем могильным?

Будто к могиле, с неясной виной
подойду я к колодезной яме,
цепенея от холода почвы родной,
той, что топчу ногами.

В ОСЕННИХ ПРОСТОРАХ

Вы, пегие дни, до того я устал, что не страшно
нести этот горб — сострадание целой земли.
Отведав на жатве прощального летнего брашна,
с косой исхудавшей иду по горячей пыли.

Дымы — как над капищем, ягоды в солнечных бликах,
осенняя тяжесть плодов, завершенье труда.
Блаженны уставшие — отдых нечаемый близок,
и сладко, и горько: ушла, отшумела страда.

И будут запруды, и шорохи мельниц — ворчание кросен,
а вся пестрота выцветает, не дышит жара.
Везде, куда голос доходит,— осенняя осень:
молчи и гляди, сколько хочешь, и так велики вечера.

Такие глубокие, топкие сны — как болота,
и гул нескончаемый в белой воде — или зов?
И грустный, ушедший, живой возвращается кто-то
из ровного долгого пения жерновов.

* * *

Встает поутру
старик, старичок, старичина,—
а у порога
делов полон кузов.

А какие дела:
за огнем смотрение,
по воду хождение,
ребячье галдение,
в окно глядение.

Откроет кузовок,
и рассыплются по двору все дела:
дверь скрипнет,
солома шоркнет,
окно звякнет,
скотина мыкнет,
петух крикнет,
народ загудит,
телега загремит —
и никто не перестанет, пока вечер не настанет,
вечер просторный и тихий.

Соберет дела старичок
в свой кузовок —
ничего не забудет.

Отойдет в уголок, сам с собой рассуждает:
— Давно меня нет,
а все никак не помру,
отдохну — устану,
устану — отдохну.
А помереть нет мочи.

Вот так весь день,
вот так весь век,
так во веки веков.

* * *

Спасибо, отчизна, что речь мне дала.
Спасибо тебе за дела.
Спасибо тебе за усталость.

Спасибо, отчизна, за Неман,
за поля простор голубой,
за эту полоску холста, и за небо,
и что по утрам просыпаюсь живой.

Спасибо, отчизна, за пищу,
которая дарит мне силу,
за то, что я вижу и слышу,
за счастье и за мою милую.

Спасибо за лезвие острой косы,
за то, что словами зову все, что выросло
в поле,
спасибо за каждую каплю росы,
за жажду, за то, что мне больно...

Спасибо тебе за всю землю...
Спасибо за то, что я жив
и что именно здесь я умру,
что ты вспашешь меня
и колосьями ржи
будет ветер играть поутру.

* * *

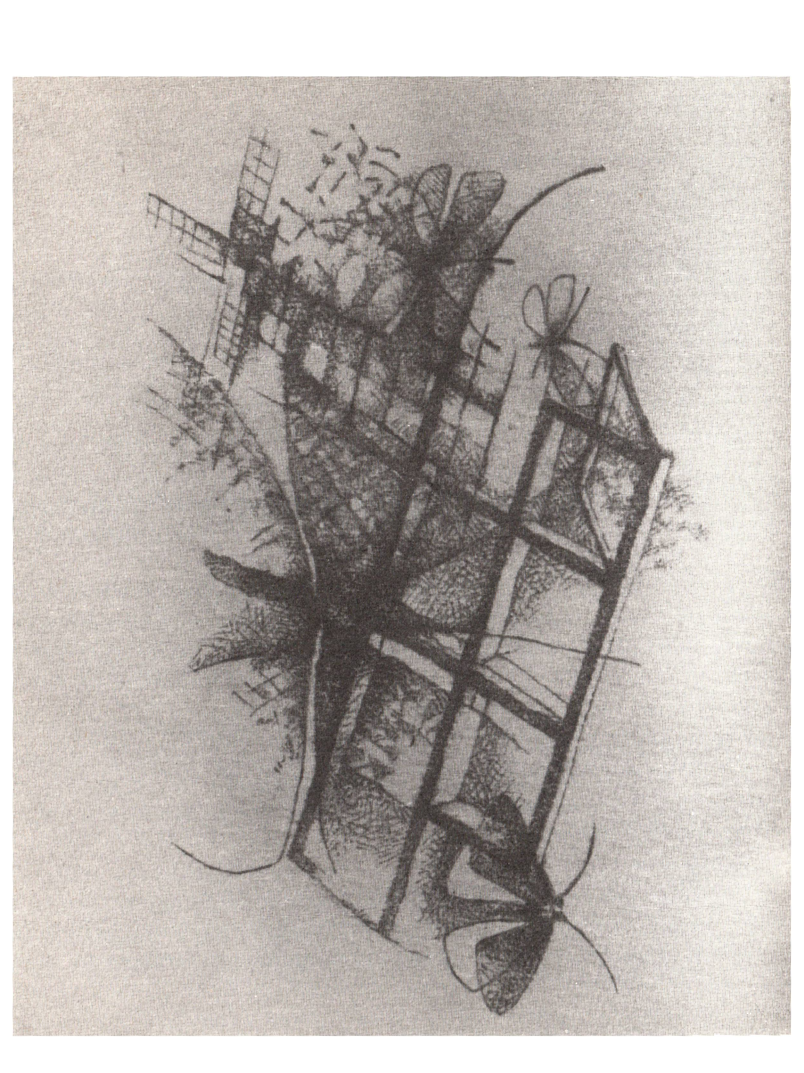
Если глаза мои вырвут —
не дай никому
ложь вложить
в их незрячую темноту —
и называть ее
солнцем.

Если слова отберут —
слушай:
когда молчу,
разве слова умолкают?

Если разум отнимут —
не убивай,
не разлучай
меня
с хлебом.

Если сердце возьмут —
не дари мне чужого;
в раскрытую грудь
положи
несколько зерен земли —
и все живое услышу.

Если растопчут меня —
дай мне горб
из обломков моих костей,
их земной правоты —
и позволь умереть,
как сумею,
на пороге твоем.



* * *

Как поле — прямых тополей,
матери ждут сыновей.
Смеха и песен — хлеба́,
ног необутых — тропа.

Там, на седых хуторах,
и там — где усталость и страх,—
буквы под грудой венков —
как острия без клинков.

Ни ранить уже, ни убить,
ни — позабытых — забыть.
Ветер, как острие,
рубит над ними былье.

Войны под почвой гниют,
в небе озера плывут.
Бродят проселками сны —
светлые тени — сыны.

ПРОБУЖДЕНИЕ В РЖАНОМ ПОЛЕ

Качаемый колосьями, я пробудился сразу, как война
утихла.
А мать сидела рядом, и зрачки, наполненные пламенем,
глядели в даль далекую:
она еще над горизонтом видела мой сон.

А там — клубился, удаляясь, тот,
кто ранами открытыми глядит на мир.
Невдалеке — кому-то пела бледнеющая девочка
и рассыпáла белые цветы на неживые лица.

И только тишина была, и я постиг,
что наконец-то можно долго плакать
всем сердцем,
всей беззащитной жизнью...

И плакал я. А это небо, эту землю и меня
любовью обнял тот, кого не сыщешь и в пылинке.
И долго я, не шевелясь, лежал среди колосьев,—
как слабая молитва посреди вины и злобы.

А после — по ржаным волнам, шурша, промчался ветер,
как будто перелистывал страницы букваря,—
и пропадал закат над Пруссией —
густое зарево последнего пожара.

* * *

Три песни у матери было:
первая песня — о сыне.
Вторая песня — о сыне.
Третья песня — о сыне.

В первой песне — с сыном прощалась.
Во второй — ждала его, дожидалась.
А из третьей — пошили ей саван.

* * *

В багровом отсвете страды
прекраснее, чем люди, их труды.
Червяк с собой уносит семя,
которое потом взойдет со всеми.

Гуляет осень в поле и в лесу —
расцветки ищет, чтобы шли к лицу.
А смерть под шкуркой желтых ягод
подслащена осенним ядом.

РОЖЬ

Росток босоногий ржаной
и песня — в глубоком снегу.
С колосьями встану весной,
до стужи уснуть не смогу.

Пугайте — кляня, леденя.
Не страшно, ведь мы не одни.
Не истребите меня —
на свете так много родни:

пшеница, сильна и добра;
и ты — не стыдись, что мала —
гречиха, меньшая сестра —
ты землю в себя вобрала.

А поле волнуемой ржи
шумнее воды голубой.
Под снегом останешься жив —
и птицы споют над тобой.

Росток босоногий ржаной,
и ты, позабытый тростник,—
я землю своею стопой
согрею для братьев родных.

И дрожью идет по холмам
гуденье шмеля.
Неназванным имя отдам —
и буду ничей, как земля?

* * *

Разошлись мои годы
по людям.
Мимо сел,
с букварем под мышкой,
увязая
в военном снегу,—
идут к непорочности детской.

Бедные, бедные годы —
идут
с голубыми цветами молчанья
мимо мертвых
заснеженных
изголодавшихся лиц,
отлученных от солнца.

При свете босых ступней
идут железной дорогой
по небу, скользящему в рельсах,—
за жизнью для всех живых.

Мои невесомые годы —
их души
идут за хлебом для жизни.
Былинками и костьми
годы
играют в детство.

ГОРБИК

Утром, перед первыми петухами,
оседлал младший братец сивку
и ускакал
на луну.

Радостно было скакать
по холодной земле,
еще не разбуженной петухами,—
одинешеньку-одному.

Где вздохнул его конь —
земля отогрелась,
где сверкнула подкова —
цветы расцвели.

А как до луны доехал,
видит — там пусто.
Там горбики только одни
всех тех, кого на земле пожалели.

А там, на земле,— он подумал,—
могут меня забыть, могут из дому выгнать...
И взял себе маленький горбик,
чтобы кто-нибудь и его пожалел.

ЖЕРТВА

За тех, кому час благой возвещен восьмикратным звоном,
за тех, кому смертный час отзвонили колокола,
за тех, чья память навеки уснула в гробу сосновом,
для коих прозвище — день, а имя — ночная мгла,

за тех, чья песня была как слабый ночник чадящий,
за вечное забытье тепла на дверной скобе,
за тех, кто умел дарить отраду и мир входящим,
за тихое Благодаренье и за Всегда в их судьбе,

за тех, кто утратил речь, как старые колокольни,
из чьих следов на полях зверь вылизал все тепло,
из чьих забытых могил время питает корни,
за тёх, чье мертвое тело небылью поросло,

за тех — из ночи, из тьмы, из запаха глинистой почвы,
за Вечно и Никогда, за плуги, вспахавшие явь,
— — — за них — на первом листе из первой зеленой почки
трижды подпись поставь.

ПО САННОМУ ПУТИ ЧЕРЕЗ ВАРНЯЙ[1]

Такая белая, глубокая зима,
что небо и земля слились,— одни вороны
чернеют на крестах, и страшно,
и лес так далеко.

Из отворяемых дверей идут
клубы седого пара — или души,
закутанные в белую холстину?
И беспокойно замирают псы.

А ты прислушайся — позванивают ведра,
и женщины, колена преклонив,
прислуживают пламени,— ты слушай:
какая боль во взгляде птицы неживом —
там красное пятно на белом снеге.

Не птица ты, ты — человечек малый,
терпи и жди, не знающий письма,
когда-нибудь животные и люди
поделятся с тобой насущным хлебом.

А вы, вороны-барыни,— сидите
на изгородях, выпятив зобы...

---

[1] Варняй — городок в центре Жемайтии, на западе Литвы. В середине XIX века Варняй был одним из центров литовской культуры.

Кто за огнем присмотрит, кто возьмется
стирать и штопать?

Каким словам вы научились! А коровы
недоены — от Варняй до Европы.
Под эти польские, немецкие,
французские слова
вы Даукантаса [1] голодом и грязью уморили.

И ты, Веро́ника, чьи руки горячи
от крови: сердце на столе дымится,
и бычьи легкие раскрыты, как псалтырь;
и ты, познавшая мужчин, ты, розовая Катре;
и, Маре, ты — облепленная сонными детьми;
ты, вдовьи дни прядущая Домице;
ты, ласковая Моника,—
ты служишь еженощно
бормочущему сквозь густую дрему,
синеющему водочному духу.

А вы, мужчины, на столы залезшие локтями,
всё пьете, чтоб сгноить горячечную душу?
Вы хуже всех! На женщин поглядите и заплачьте,
вы, боровы,— ведь ваша доля барщины страшней.

Глядите,
чтоб кто-нибудь у ваших чад не отнял буквы,—
как долго лают на чужих охрипшие собаки! —
там к вековому льду немецкие примерзли языки...

---

[1] Да́укантас Симонас (1793—1864) — видный литовский писатель, собиратель фольклора, автор первой истории Литвы, написанной на литовском языке.

И ты, Казис, ты музыкант и песнопевец;
ты, Рамас, однорукий бригадир,
людей с людьми не примиривший даже в мыслях;
и ты, Кукутис, по ночам тревожащий собак;
и ты, и ты, и ты, и ты — вы все.

И ты, беспомощный Дзидорюс,
пускай недолго прогостишь на свете...
Так ладно ты устроил на земле дела господни,
что дай тебе господь на небе радость
великую, как горести твои.

А ты, дитя, не слушай, не смотри,
как там у хлева над быком склонились.
Послушай, что скажу:
и ты, Витук, ты, глупенький, и ты,
вы буквы заучили хорошо? —
по санному пути уже спешит Валанчюс! [1]

Дитя, ты сбегай посмотри —
там, где земля смешалась с белым небом,
еще саней не видно?..

---

[1] Вала́нчюс Мотеюс (1801—1875) — известный литовский писатель, просветитель, историк, выдающийся церковный деятель, ректор Варняйской духовной семинарии, с 1850 года — епископ Жемайтии. По книгам Валанчюса целые поколения литовцев учились грамоте. По инициативе Валанчюса в Варняй родились первые братства трезвости.

* * *

Моя вина — моя страна,—
как сердце — у меня одна:
твоим обыденным словам
учусь и ныне по слогам.

И боль твоя во мне светла,
и речь твоя, и эта мгла —
твои поля и колеи,
седые яблони твои.

Земля моя — моя страна,
и жизнь одна — и ты одна,
в любом пути
во все века — земля в горсти —
и смерть легка.

Под небом синей высоты
и солнце ты — и сердце ты,
могилы настежь отвори,
ведь живы мертвые твои.

Моя вина — моя страна,
и я один — и ты одна,
как всем — отмеченному тьмой —
ты дай мне хлеб насущный мой.

Когда — от счастья и в беду —
ничей — по всей земле иду,
жду белой полночи твоей,
и трудных дней,
и легких лет,
иду к тебе: трава в слезах,
и тьма в глазах,
и в сердце — свет.

ПЛАЧ ПО БОЖЬЕЙ КОРОВКЕ

(Летний сон)

Утром,
на самом восходе она умерла —
Божья коровка.

Ее, вознеся высоко,
в капле стеклянной везли.

Косари по обочинам тихо стояли,
босые, без шапок.
Косы мерцали на солнце.

И двенадцать безмолвных всадников
ехали впереди.
Их кони, глядевшие в землю,
шли осторожно.
И не было видно, где обрывается путь.

По краю дороги
шла девочка-хромоножка —
это была сестра
Божьей коровки.

И плакальщицы —
их было двенадцать,—

двенадцать
укутанных в черное черных ночей,
шли за повозкой рыдая:
«Ты, солнце, свети,
дай травам взойти —
Ее оживи».

Солнце мерцало на косах,
косами срезаны травы —
ехали всадники молча — —
пала роса — — —

ЖУВЯЛИС. РЫБАК-РЫБАЧОК

Шагал рыбак по шоссейке
вдоль сизых посадок брюквы
и думал про кошку-девчонку,
про ту, которая утром
сушила горшки на плетне.

Продал он рыбу в местечке,
купил картуз из вельвета,
добрый вельвет, фартовый,
и пуговка на макушке.

А на остаток — пива.
И в голове загудело.

Запел рыбачок Жувялис
и сам себя растревожил.
Себя ему жалко стало,
поющего так красиво.

И вот про что думал:
увидит картуз из вельвета,
из доброго вельвета,
про всё она позабудет
и влюбится в рыболова.
И пойдут на гумно они оба
по соломке кататься.

Потер рыбачок себе ноги,
присел у межи.
Придремалось.

И господь-бог пришел
к нему через сизое поле,
подкрался тихонько и крикнул:
— Эй, человече, за слово
ты, как за вещь, в ответе!

Но бог сам себя не понял
и огорчился,
увидев картуз из вельвета,
из доброго вельвета,
с пуговкой на макушке.

И сказал господь ему: «Слушай,
зачем тебе шапка, Жувялис?
Лучше отдай ее мне.
Ведь вы на гумно не пойдете.
Ибо так замечательно петь
ты при ней не посмеешь.
А будешь скучный-печальный».

И ответил Жувялис:
«И вправду, господи-боже.
Возьми ты картуз из вельвета.
Я ведь точно — петь не посмею,
а страшное что-то содею...»

Бог удалился по брюкве.
А рыбак назад воротился,
и было себя ему жалко,
поющего так красиво.

СИГУТЕ У РЕКИ

Не смотри все время на воду —
или оглохнешь,
или дурочкой станешь...
Не отвернешься —
домой не вернешься,
про все позабудешь,
на берегу задремлешь.
Звери лесные придут
и тебя оближут,—
и ты уже будешь чужая.

ПЛАЧ ГЛУПЕНЬКОЙ ОНУЛЕ

Нашла у дороги Онуле
красную нитку
из варежки детской —
а может, из радуги?
На холмике села,
и стало ей жаль эту нитку,
до слез
ее стало жалко.

И пожалела Онуле
жаворонка на пашне,
и пчелу, на рассвете упавшую в пруд,
и в песке — отпечаток ладошки.

И пожалела Онуле,
что острые плуги
скоро запашут гнездо,
что пчела не вернется домой
и никого не накормит,
что малые дети — вырастут и постареют,
и красные рукавицы
им станут малы.

Сидит у дороги Онуле
и плачет,
и нитку сжимает в руке,
и так она плачет,
как будто осталась одна
возле сгоревшего дома.

ЖЕМАЙТИЙСКИЙ ТРАКТ[1]

Поздняя весна,
осень, желтизна,
волглая листва —
облако, Литва.

Летние леса,
ливни, голоса,
голубые льны —
дали зелены.

Отчие слова,
тьма и синева,
солнце над водой —
полдень молодой.

Камень и тропа,
кровли и хлеба,
яблоневый снег —
для живых, для всех.

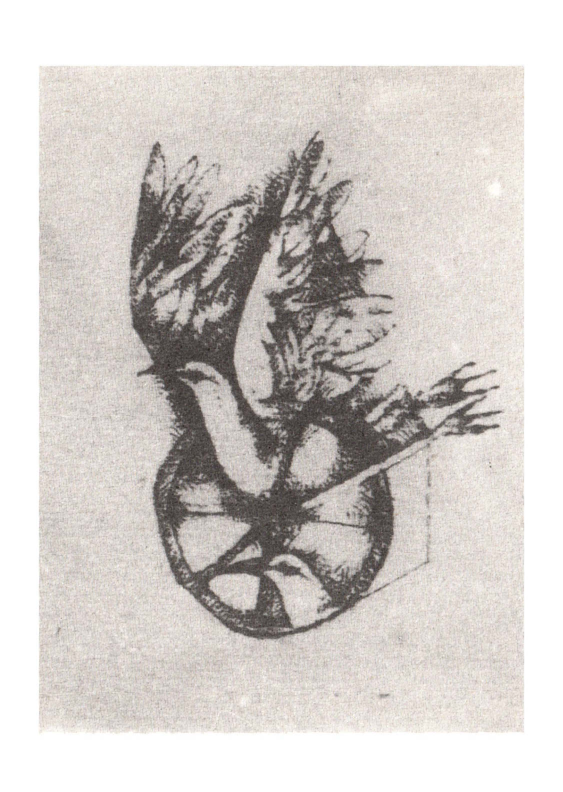
Кости и следы.
Сколько ни гляди —
поле и листва,
даль и синева.

---

[1] Название дороги, ведущей из Каунаса в Клайпеду, из центральной Литвы — к морю, через всю Жемайтию.

Бедные кресты,
белые мосты,
путь и облака —
люди и века.





2. БАЛЛАДЫ КУКУТИСА

НОЧЬ У ЖЕМАЙТИЙЦА КУКУТИСА

За лесом, за лесом —
за горкой двугорбой,
где дремлет сова у заглохшей дороги,—
почти что слепой,
не живой и не мертвый,
за лесом Кукутис живет одноногий.

Покуда в печи
занималось полено сырое —
могилы осели,
и стали ржаветь аркебузы:
в округе послышались первые вести о Трое
и радио сообщило,
что вымерли пруссы.

Покуда леса наступали
и шляхта слабела,
мы выпили за ночь полжизни, такой небогатой.
Я тихо и грустно
подмигивал то и дело
единственной дочке хозяйской —
красотке горбатой.

Покуда ее охмурял,
старика беспокоя,—
Германия пала,

калеки вернулись по рельсам,
и я поседел,
и мы думали:
что там такое —
костер за рекой
или это Париж загорелся?

Пока постигали,
что мы — у границы бескрайней,
горбунья молилась в углу,
испугавшись кометы.
Покуда крестилась,
распались державы и страны,
подошвами к северу в землю легли самоеды.

Пока он по-жмудски [1] шептал на немецком,
на польском,
на русском,—
как лось,
заревел паровоз в перелеске уныло.
И запылали поместья,
когда при мерцании тусклом
хозяйка в чулане постель для меня постелила.

И — замолчала политика...
Джаз передали из Кельна.
Как прусские кони —
заржали в ночи саксофоны, ликуя...
Полжизни прошло,
и нам стало ни сладко, ни больно —
ни «danke» за Пруссию,
ни за Варшаву «dziękuję».

---

[1] По-жмудски — на жемайтском диалекте.

Покуда Кукутис
прилаживал правую ногу,
фитиль зачадил
и земля содрогнулась от гула —
столетье петух прокричал
и затих понемногу,—
одна только ночь промелькнула.

ВСЕМИРНАЯ БОЛЬ
В ОТОРВАННОЙ НОГЕ КУКУТИСА

— В ней что-то страшное есть,
мне непонятное,
и главное — это больше ее самой:
оно до Австралии достает
и до Японии.
Ее боль
является иногда с другой стороны земли
и весь мир обнимает.

Или доносится что-то
из ее глубины —
неживое, страшное, ледяное,
говорящее по-японски,
по-немецки и по-английски —
и всё вокруг отравляет.
Попадает в еду,
и в одежду,
и в воду,
обнимает небо,
прогрызает землю насквозь.

Пробовал уезжать —
и всюду одно и то же:
заполнила целую Землю
моя оторванная нога.

Этот ужас,
такой непонятный,
который в моей ноге,
уносит меня и боленье мое
по самым далеким странам,
проносится, как мировая война,—
и глазами ног не увидишь,
и руками до головы не достанешь,
и слова не слышат того,
что они говорят:
даже слова отстают от речи.

И такое всё черное
и чужое,
и ссыхаются мысли,
и некуда деться —
от этой моей ноги.

ПЛАЧ КУКУТИСА ПОД НЕБЕСАМИ

Кукутис, ты знал города и леса,—
а ночью не страшно глядеть в небеса?

Всё небо в огнях — как Париж, как Триест,
под небом таким — жеребенок и крест!

Не надо, Кукутис, не плачь, не рыдай —
ты дочь свою лучше мне в жены отдай!

Я, правда, был коротко с пулей знаком
в Маньчжурии, то ли в полях под Орлом.

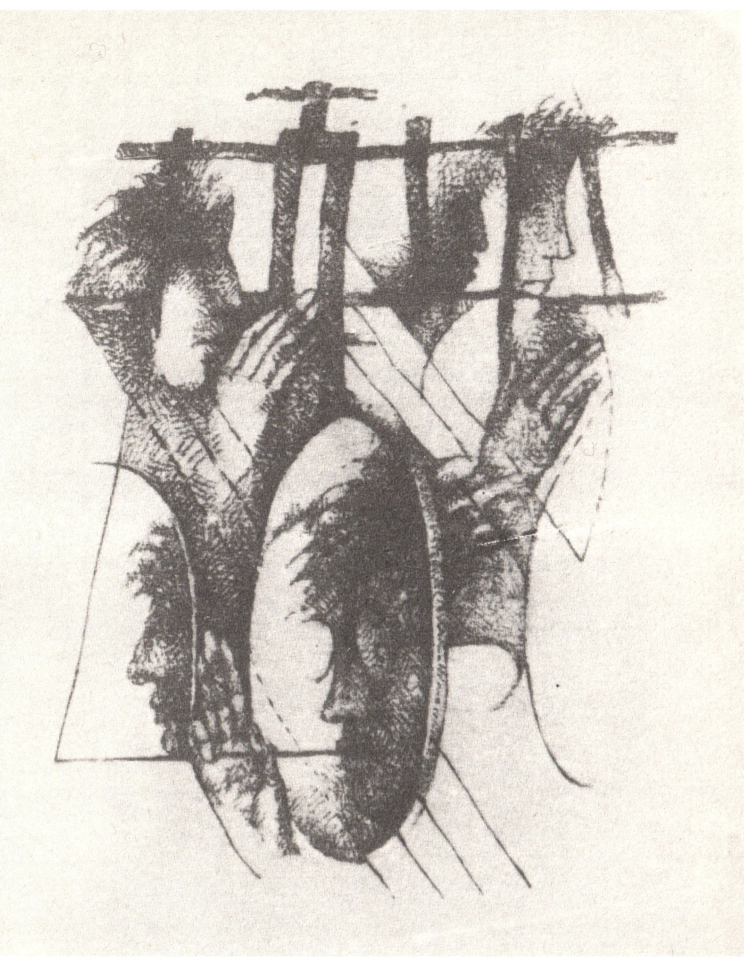
Из юности — вышли колы для плетней,
я вижу: забор вкруг усадьбы твоей.

А эти вот окна, в которых темно,
моими тетрадями школьными были давно.

Кукутис, и дочь твоя мне не нужна —
в Силезии черной зарыта она.

Не надо! При свете небес голубом
за родину пьяные слезы прольем.

Не надо! Над хлевом, худа и чиста,
над миром — горбатая светит звезда.



БЕСПЛОДНЫЙ ХЛЕБ КУКУТИСА

— Я родился в квашне.
Сотня лет обернулась вокруг земли —
тут я и родился.

Я по ночам залезал в кладовую
и буханку сосал,
прижимая к себе губами
голую
набухшую грудь.
А после все удивлялись,
отчего она такая сухая,
и кашляет целую ночь взаперти,
как будто болеет чахоткой.
В злые годы
на нее накутывали одеяло,
чтобы пленники Речи
Посполитой [1]
не услышали хлеба.

Хорошо было в детстве —
под опекой
хворой буханки.
Много лет
мы с ней вместе

[1] Речь Посполита — название объединенного польско-литовского государства, созданного на основе Люблинской унии 1569 года и распавшегося в 1795 году.

глядели из узенького окошка,
как через нашу деревню Жувялишки
шведы перетаскивают корабли
из Вилии — в Нярис[1].

А потом я подрос
и тоже стал жить неплохо:
приходилось ездить верхом
вместе с литовцами,
когда посылали за смертью
или куда подальше.
Я все равно просыпался утром живой и здоровый,
я был — как мешок с картошкой,
даже как сто мешков,
почуявших теплое приближенье весны.

После — когда меня пруссы поставили смирно
на дороге из Клайпеды в Мемель[2],
я пошел по рукам,
                    как ходят имперские деньги:
за шелка цесаревен
платили меня —
то кайзера, то николашку.

Короли не сумели меня поделить:
клали меня
в землю прямыми рядами

---

[1] Ви́лия и Няри́с — названия одной и той же реки, берущей начало в Белоруссии; на реке Нярис стоит Вильнюс, при ее впадении в Неман — Каунас.

[2] Клайпеда и Ме́мель — литовское и немецкое названия одного и того же города на берегу Балтийского моря.

от Каралячюса до Кенигсберга[1],
размежевав королевства
и лишившись земли,
которую занял я сам,
положенный друг за другом.

Так я и служил:
то из Каунаса перебегу nach Kovno[2],
то рожь посею
между Вилией и Нярис,
то сберегу императорскую казну
по дороге из Клайпеды в Мемель,
то посчитаю,
сколько верст между ними выходит туда
и сколько обратно —
через всю эту жизнь.

А на хлеб —
все не хватало досуга:
так и осталась буханка бесплодной.
Забытая всеми,
одинокая, дряхлая,
сморщенная горбунья
все еще поджидает меня в окне кладовой,
все еще думает проглядеть насквозь
эту круглую землю.

---

[1] Каралячюс и Кенигсберг — литовское и немецкое названия города на балтийском побережье, столицы Пруссии (см. выше), ныне — Калининград.

[2] Каунас и Kovno — название одного и того же города.

СЛОВА КУКУТИСА ВО ВРЕМЕНА ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Почему там никто не ходит
и ребенок играть не хочет?

— Кукутис, там производят слова
и там обучают их понимать,
что они сами значат.

Почему там и дверь не дрогнет
и в окна никто не смотрит?

— Кукутис, там для тебя производят слова,
там их обучают,
чтоб и ты имел что сказать.

Говоришь, они заняты — и никого не примут
и сами решение примут?

— Кукутис, там же слова твои оберегают
от твоего бесстыдного языка!

КУКУТИС ЗА РЕШЕТКОЙ

Птица, все ты поешь и поешь,
а знаешь ли ты,
какие слова в твоей песне?
Что ответишь,
когда тебя спросят:
— КАКИЕ — СЛОВА — В — ТВОЕЙ — ПЕСНЕ?

А ты, солнце,
светишь, будто не знаешь,
какими словами
светишь?

Если спросят, а ты не ответишь,—
вышибут, солнышко, зубы тебе
рукояткой револьвера!

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КУКУТИСА, ОТПУЩЕННОГО НА ВОЛЮ

а) не ведая
ведать
чего не положено
ведать

б) не видя
видеть
чего не положено
видеть

в) не думая
думать
чего не положено
думать

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КУКУТИСА

Как пришло Кукутису умирать,
стал он думать:
все-таки я счастливый,
я ведь дожил
до собственной смерти
и вот умираю
без всякого принужденья,—
сам по себе,
жил и дожил,
и смерти дождался.

А могли бы годами терзать
или вдруг расстрелять,
даже и не окликнув,—
я до сих пор
не узнал бы,
что меня уже нет.

СОЗНАНИЕ ОТЧУЖДАЕТСЯ ОТ КУКУТИСА

— Просыпаюсь по левую руку от себя самого,
а по правую руку
все еще сны вижу в открытой двери.

Пока я — слева — в дверь прохожу,
справа —
все лежу и лежу
и думаю немигающими глазами,
и все думаю-думаю:
вон я, слева,
сгорбившись,
через двор
уношу на плечах работу
в капустное поле.

Господи-боже,
что за чудо —
эти прямые
поля капусты!
Какая это святая работа —
ростки высаживать правильными рядами!

Целый день, широко распахнув глаза,
лежу себе справа и перебираю в уме
трудные жирные деньги —
думаю вон туда,
где капустное поле.

А когда перелезу с правого края постели
на левую сторону,
тут и почую: а между ними не было ничего
только жуткая яма,
переполненная
черным морозом.

И ЗЕМЛЯ УХОДИТ В НЕБО

Ой, Кукутис, зимы долги,
зябко пламени и стеблю!
Где достанешь цепь для телки,
чтобы к ней привесить землю?

В годы злые было строго,
выла дурочка на вербе:
нету лога, нету бога,
и для мертвых нету смерти!

Города побагровели,
как зарезанное стадо.
И овец секли во гневе —
у кого еды не стало.

Как прожить, когда огня нет?
Кто луну заманит в невод?
Дурочка в колодец глянет —
и земля уходит в небо.

От разора, смрада, пыла
из воды сбежали рыбки...
За грехи, за все, что было,—
били мертвого на рынке.

КУКУТИС ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ

Прохудилась черная крыша,
и солнце
в окна светить перестало.

Трава поднялась во дворе,
и заржавел молоток —
косе уже не дарил никакого звона.

Дрова не поддавались огню,
и собака
уже на Кукутиса не глядела,
когда он шел через двор.

— Ах вы гады! — хлопнул дверью Кукутис.—
Я вам еще покажу!
Пес, ты еще будешь мне руки лизать
и в глаза мне заглядывать будешь!

И подумал Кукутис:
— Лучше продам себя
на базаре в Расейняй [1].
Большую деньгу получу.

На длинной телеге
ехал себя продавать,
понукал пожилую кобылу.

[1] Расе́йняй — городок в Жемайтии.

Добрался до места,
привел себя на базар —
пусть прицениятся:
может, кто и польстится...

Галдели вороны
на кладбищенских деревах,
а в телеге
плакала девочка
и сосала
длинный рождественский леденец.

Посвистывая бичом,
мчался Кукутис —
кружил по расейнскому рынку,
мчался уныло.

Купцы громогласно сбивали цену,
а ихние жены
стыдливо молчали,
обмахивая носовыми платками
разгоряченные груди.

Расступились цыгане,
когда прусс, прибывший из Кенигсберга,
показал на Кукутиса батогом:
— Es ist eine Litausche keulie?

Голосили бездомные дети,
и только один дородный американец
уверенно подошел, на Кукутиса поглядел
и промолвил:
— O'key!

За нос его подергал,
покрутил его головой,
руки пощупал
и добавил:
— O'key!

Достал из кармана
двадцать долларов
с двадцатью президентами
и Кукутису заплатил
за Кукутиса,
купленного
для какой-то всемирной выставки.

От счастья такого —
за эти двадцать бумажек
пропил Кукутис телегу,
и бич,
и кобылу.

После,
когда уже ничего не осталось,
за те же самые деньги
он еще пропил Расейняй,
дорогу на Юрбаркас [1],
ворону,
хрипящую над погостом.

— Гады вы! Гады! —
он плакал, проснувшись ночью
на опустевшем базаре.—

[1] Ю́рбаркас — городок на Немане, у тогдашней границы Литвы и Восточной Пруссии (на стыке трех исторических областей — Жемайтии, Пруссии и Сувалькии).

Гады вы! Гады!
Во как надули меня —
за два десятка
замусоленных президентов.

Пешком дотащился домой.
Увидел нетопленую избу,
Кукутене, лежащую носом к стене,
и неживую девочку,
сосущую длинный
рождественский леденец.

— Гады вы! Гады! —
ноги Кукутис отбил
о колодезный сруб.—
Гады вы! Гады!

...И падали
окоченевшие звезды
Кукутису под ноги —
в холодный, далекий
и темный двор...

КУКУТИС ЕДЕТ БЫСТРО

Едучи быстро,
посеял Кукутис руки,
и в них — молоток,
а на них — темные борозды, оставленные вожжами,
а с ними вместе — верную боль в суставах.

Стал искать руки —
ноги куда-то девались
вместе с почвой, присохшей к подошвам,
с этой землей,
исхоженной вдоль-поперек,
вместе с морщинистой пашней,
с убеганием от огня,
с утомлением, которое вроде
воды подогретой.

Стал искать ноги —
куда-то запропастился слух,
а в нем — воскресные колокола,
и мычанье животных,
и моленье о
жалости,
правде,
любви.

Глаза — и те потерялись,
а в них-то — вся родина...

Вот и мается он теперь,
сойдя с вагонной ступеньки,—
как нелепая роспись
на дряхлом банкноте.

ПОЛНОЕ СМЯТЕНИЕ У КУКУТИСА

Когда запылали Расейняй,—
по клеверу
от Кукутиса побежал топорик,
из карманов
роняя мелкие щепки
и горестно причитая.

А вослед за топориком
бросились люди,
волоча на себе
все, что смогли унести.

И вышло такое смятение,
такое смешение,
что люди перестали себя отличать
от слов и всяких орудий,
давай молотить друг друга,
боронить,
выкашивать,
в землю сажать.

И перестали видеть,
чем отличаются
от людей топоры
и вилы,
мужчины — от женщин,
чем отличаются дети
от стариков.

Друг друга теперь узнавали
только по буквам,
по печатям,
по весу,
по всхожести,
по клеймам на лошадиных крупах.

И было такое смятение,
такое смешение,—
что и сегодня, сдвинув две бороды,
смеются два непременных Кукутиса —
как топорики,
еще недавно
ласкавшиеся с точилом.

ПРОПОВЕДЬ КУКУТИСА В СВИНАРНИКЕ

Что вы таращитесь,
жирные, нечистые свиньи!
Истинно говорю вам:
будете корчиться в адском огне,
в черном дыму коптиться!
И поднимется смрад —
пол-Европы накроет,
дотянется даже до Англии.

Кыш отсюда, Болесь,
теперь уже каяться поздно!
Разве не ты меня угрозами донимал,
вымогая признанье —
кому я служу во сне,
а среди бела дня — не притворяюсь ли,
будто живу, как повешенный?

Виктас, а ты до какого свинства дошел:
нашептал,
что я скрываю от рейха правую ногу,
и еще —
что имею на́ небе родственников,
не прописанных, не представленных в волость...

Раполас, только тебя я жалею:
по неразумию ты оказался в свиньях!

Ведь это не ты,
это прожженные дураки тебя подучили
подпалить европейскую землю,
высадить окна и двери!

Улесе-Улесе,
а ты до чего докатилась!
Какой-то нечистью поросла,
жрешь и чавкаешь —
а слюни стекают в навозную слякоть.
Как у тебя безобразно отвисла челюсть
и сморщились ляжки!..
Говорил же: девка, иди за меня,
помнишь — по молодому делу —
как я к тебе подъезжал,
а как ты плясала тогда
под гармонику!

Что же вы, свиньи, сожрали
мои самые золотые денечки!
А теперь давайте, набивайте окорока —
запихнет вас Европа
в долгую-долгую колбасу —
от Жувялишек до Ла-Манша!

Эх, вы, некрещеные свиньи,
тычетесь неразумными рылами в то,
чего и люди бы есть не стали!

КУКУТИС ВРАЗУМЛЯЕТСЯ

Земле я правил небо,
а морю днище делал,
а морю днище делал,—
и тут пожар у немцев,
ну и пришли за мной,
на горло цепь надели,
на горло цепь надели —
под закадычным дубом
повесили меня.

Повесили меня —
тут я и вразумился,
от всей земли отрекся,
от неба и отчизны,
от неба и Литвы.

На той сторонке света —
мне дали угол в небе,
под закадычным дубом —
сажени две лугов!

Чего еще мне надо:
имею две сажени!
Не боронить, не сеять —
вот-вот придет корова
и унавозит все.

Пахать и жать не надо —
чего еще мне надо?

Земле справляю небо,
лежу себе приятно
под закадычным дубом —
со всеми, кто устал.

На той сторонке света
гоню рыбешек в воду —
и то́ я понимаю,
чего понять нельзя.

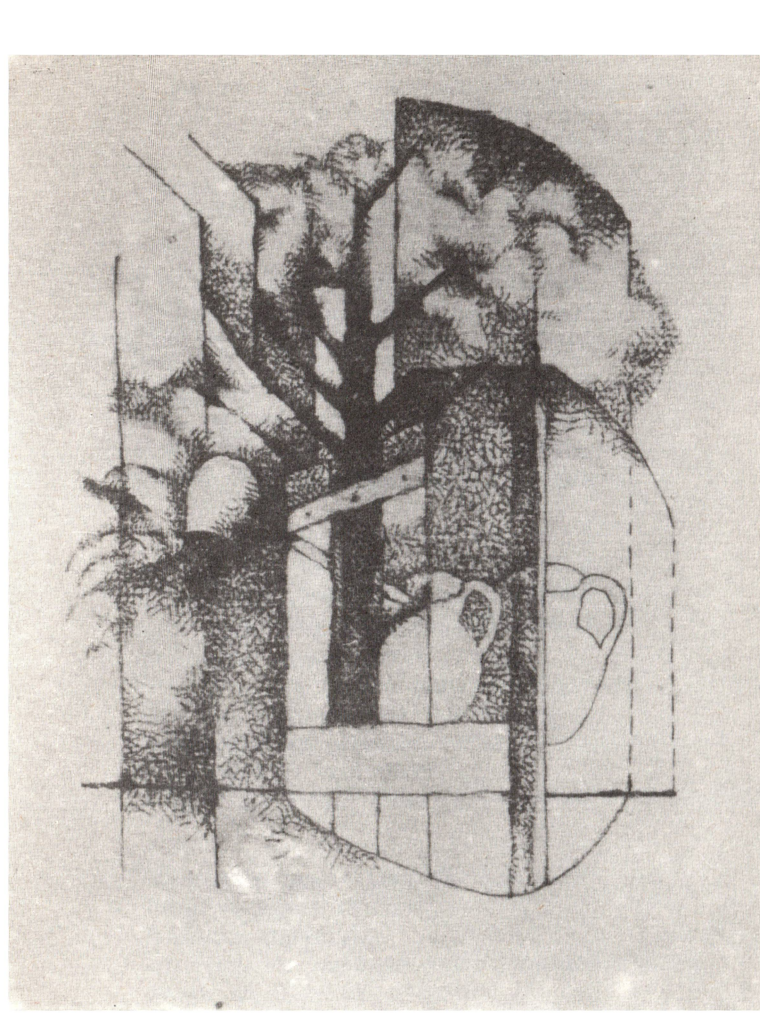
СКАЗКА, КОТОРУЮ Я СОЧИНИЛ, ЧТОБЫ РАЗВЕСЕЛИТЬ ПОВЕШЕННОГО КУКУТИСА

В рыдване — на свалявшихся перьях —
везут короля-дурачка
поглядеться,
велико ли его королевство.
Все, кого построили вдоль обочин,
звонят для него в колокольцы
в благодарность за то,
что могут звонить для него в колокольцы...

Он едет вокруг земли
в десятый,
в двадцатый раз
и все никак не увидит,
где же кончается королевство.
Повсюду —
собственной радости
радуются
пением, пляской и колокольцами.

— Сколько раз,— вопрошает король,—
проходит вокруг земли
сие королевство?

— А столько,— ему отвечают,—
сколько раз и будет вокруг земли...



И король изумляется,
как это так — все одни и те же
ему благодарны за то,
что сделали сами,
благодарны за то,
что могут благодарить,
звякая бубенцами...

Только трое повешенных
гонятся за рыдваном и просят,
чтобы им выдали разрешение умереть.

— Ну нет,— трясет головою король,—
такой в королевстве порядок:
повешенным
запрещается умирать!

Едет король потихоньку,
а сзади, чуть поотстав,
плетется один дурачок, другой дурачок,
и все они — тот же король.

КУКУТИС ПРОСИТ О ВЫДЕЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

Какая весна наступила!
Слышу — там, за рекой,
сквозь мои кости
две букашки идут в обнимку,
и травяные корни шуршат в моей голове.
Лед потеплел в суставах,
и солнышко там — на пригорке —
светит для тех, кто сеет.

А я столько лет не работал
не потому, что ленился,
а потому,
что меня от меня отодрали —
от самых моих костей.
Это не я — это все язык мой болтает.
Столько лет я не ел ничего —
все нутро мое вынула мина
и развесила на ветвях,
а из моих зубов смастерили губную гармошку.

Прошу, верните хотя бы рот —
тогда я такое скажу!
А как я наемся!
Это что же выходит — и голодным костям
никто не дает ни крошки.

За что, говорю, паразиты,
вы на кости мои ополчились?

Дождетесь и вы — сколько ни хлопайте ртами —
сложат вам руки на пузе
и никто ничего не даст.
А ведь что-то такое дают за руку оторванную
или ногу,
только я за убитую голову
ничего получить не могу.

И сколько таких горемык
лежит по соседству,
все лежат и ждут милосердья —
каждой весной,
когда лед потихоньку теплеет в суставах
и жуки начинают скрестись в голове.

У КУКУТИСА ПОЕТ ЛАСТОЧКА

Весна,
разве и у тебя — не весна,
разве тебе не красиво,
когда красиво,
когда весна?

Как хорошо и красиво,
когда красиво,
некрасивым —
и тем красиво,
когда весна,
когда солнце
оттаивает на окнах!

Как хорошо и красиво
траве
или теплому дыму,
даже мертвым —
как хорошо
в этой красивой земле!

Весна, как тебе хорошо,
когда такая весна,
такая красивая,
когда на поля, на пашни,
после зимнего заточенья
возвращается вся Литва!

КУКУТИС ХОЧЕТ УВИДЕТЬ ОТЧИЗНУ

— Я так долго отчизну не видел,
только пахал ее землю,
подправлял солому на крышах.

Жизнь мешала глядеть и думать,
утомляла глаза и мысли:
все-то мне приходилось работать,
ехать куда-то, идти.

Вижу — ничего не выходит
и у тех,
которые быстро ездят,
или у тех,
которые много и вкусно едят,
чтобы краше были слова —
об отчизне.

Работал-работал,
даже мыслей не замечал,
все мечтал заработать себе выходной,
чтобы мог я спокойно подумать.

Вот все дела свои кончу —
и в свободное, заработанное воскресенье

растянусь на траве,
руки по теплой земле раскину,—
и взгляну на отчизну,
которой так долго не видел.
Я ведь большего не заработал,
и так мало всего у меня,
что большего мне и не надо.

КУКУТИС БЕСЕДУЕТ СО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ

Ночью — во мне —
так и льнешь, умоляешь,
выклянчиваешь побольше
ласковых взоров, нежных дыханий,
жадных молчаний —
как будто я трогаю женскую руку.

Жизнь моя, до чего же ты одинока,
как ты испуганно ищешь другую жизнь!
А что я могу для тебя —
такими руками,—
разве доброе мне позволит
к нему прикоснуться?

Ближе тебя и нет никого,
никто меня так, как ты,
объятьями по ночам не будит,—
а ты мне все шепчешь мои молодые дни,
открываешь такое, чего уже не сумею:
в тесном чулане перепутанные слова,
когда на губах такая сладкая горечь,
и мыши буянят,
очумев от луны.

Выдал бы я тебя, жизнь,
за телка, за ягненка,

или всю тебя отдал за песню
над скошенными полями,—
запряг бы кобылу и повез бы тебя
разодетую — по деревне.
Только жаль: нас никак не разнимешь,
очень уж бедных притискивает друг к другу
их негреющий свет, короткая теплота,
долгая их одинокость...

Бездетная ты моя,
пустыми ночами
зачем меня мучишь,
что ты никак в душе у меня не уснешь,—
всё вздыхаешь там,
как солдатка.

КУКУТИС РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ИЗБЕ

Такая моя изба:
о двух половинах.
В окно погляжу —
солнце восходит,
гляну в другое —
солнце уже садится.

С одной половины посмотришь —
сады расцветают,
а с другой поглядишь —
листопад и падение яблок.

В той стороне —
людно: пахота, жатва,
а в другой —
пусто, как не бывало.

В одном углу
величают невесту,
а в другом — погляжу —
вроде ее обмывают.

В одном конце —
пляшу с молодыми,
а в другом —
еле ноги переставляю.

Такая моя избушка —
о двух, говорю, концах:
в одном —
живу, себе поживаю,
а в другом —
лежу мертвый.

СОЖАЛЕНИЕ О КУКУТИСЕ ТЕМНОЙ ВЕТРЕНОЙ НОЧЬЮ

Где ты, Кукутис, теперь —
после смерти?
Идешь где-нибудь под ливнем,
сгорбившись, превозмогая ветер,—
идешь, будто в гору,
и ни одна собака
не лает.

А из черной стены вырвали гвоздь,
на который ты вешал мокрую шапку,
когда, распродав дрова,
возвращался из Риги.

Где же теперь
всё, что ты навыдумывал,
высмотрел
и расслышал,—
ты это унес или оставил кому-то?

Где ты, Кукутис,
топорик другой раздобыл —
твой-то ржавеет у двери,
заколоченной накрест;
а твой молоток
побежал за чужими людьми —
он к ним захотел подольститься.

Где ты теперь, Кукутис,
идешь,
перепоясан железом?
И ни один,
ни один беспризорный пес
не бежит за тобой вдогонку.

НИКЧЕМНАЯ ПРИПЕВКА КУКУТИСА

Никого никто
ни как-то
ни в какую —
никогда.

Никому нисколько
не в чем
нечем не на что —
никак.

Несколько ничуть
нисколько
негде не с кем —
ни к чему!

ЭКСПЕРИМЕНТ

Чего он только ни вытворял
чтобы стать таким
каков он на самом деле —
когда не старается быть таким
каков он на самом деле

Чего он только ни делал
занимался гимнастикой
наблюдал отдаленные звезды
учился хорошим манерам
одевался со вкусом

Всё напрасно
он думал
ведь невозможно сделать себя таким
каков ты на самом деле
— а когда стараешься быть таким
каков ты на самом деле
тогда на деле ты уже не совсем таков
каков ты сам по себе

Чего он только ни делал
но едва становился таким
каков он на самом деле
— тогда он и в самом деле бывал
вроде не сам по себе

И он возроптал
о боже
если это кому-нибудь видно
до чего это стыдно
он думал
покуда не поздно
— надо бежать

И он пустился бежать
понимая
что бежит не на самом деле
не так
как бежал бы сам по себе
не так
как просто бегут не притворяясь
будто просто бегут
не стараясь никем притвориться
— как обычно бегут

Как он ни старался ничуть не стараться
— всё равно это было старанье
стараться
чтобы ничуть не стараться

Он думает
какое глумление
какое всё это глумление
видно
кто-то меня нарочно смущает
чтобы я еще больше запутался

Но невозможно бежать только затем
чтоб никуда не бежать

— а все-таки надо бежать
ведь на это наверно взирает
высшая сила

И он бежит
окутанный белым перинным пухом
сверкая невидящими глазами
первое время бежит бегом
а потом поскользнувшись падает
— и рушится на него
бесплотная
многомирная сила

ВСЕСИЛЬЕ КУКУТИСА

Смотрит Кукутис
и видит: Кукутис.

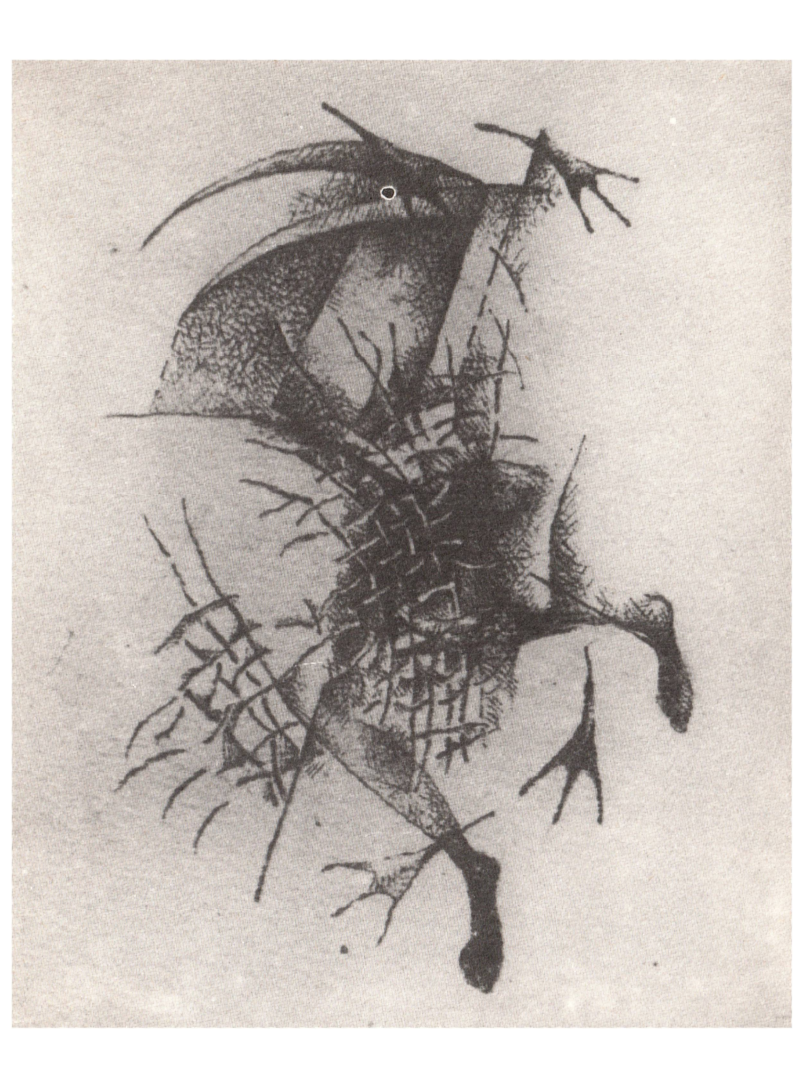
Слушает —
и слышит: Кукутис.

Говорит —
и понимает,
что говорит Кукутис.

Сидит на скамье Кукутис
и сознает,
что сидит на скамье Кукутис.

Шагает Кукутис,
и это шаганье
исходит
из его существа,
и глядение исходит из него самого,
и сознавание.

Так вот живет Кукутис
и знает,



что вот ведь — живет Кукутис,
живет же себе
подобру-поздорову!

И понимает Кукутис:
он полон Кукутиса...

И ему хорошо.

КУКУТИС ШЛЕТ ПИСЬМЕННЫЙ ЗАПРОС В ВИЛЬНЮС

— Посоветуйте, что мне делать:
я повис на крыле самолета!
Еле-еле держусь
окоченевшими пальцами.
Еще немного —
и упаду
в Жувялишках — прямо на крышу хлева!

Срочная телеграмма из Вильнюса:

Кукутис,
без паники!
Все спокойно!
Не торопиться!
Не отпускайте пальцев,
пока не проснетесь!
Проснувшись,
разомните затекшие пальцы
и спите дальше
без всякой угрозы для жизни!

ГРЕШНАЯ ДУША КУКУТИСА

Когда засыпает Кукутис —
сквозь веки
из тела выходит его душа
и, не видимая никем,
носится по деревне
и делает всё,
что воспрещают указы,
кодексы
и десять заповедей господних.

В это время Кукутис
ворочается в постели,
не разумея —
откуда в нем столько
смертных грехов,
откуда они берутся?
Вроде бы каждый день
соблюдаешь себя,
чтобы и перед собой
быть ни в чем не повинным.

А душа его пьяная куролесит,
ходит небритая, грязная,
песни горланит,
бранится,
задирает людей и скотину,

цепляется к деревенским вдовам,
дурные слова говорит
и о господе боге.

А на третьи сутки
так смиренно приходит назад,
облачается в белую
детскую рубашонку,
руки целует
самому господу богу,
голосом пропитым просит прощенья за то,
что Кукутису принесла
столько плотских грехов.

Утомленная,
пробирается
под прикрытые веки
и, скрежеща зубами,
забывается долгим сном,
беспокойным, как жизнь.

КУКУТИСУ НУЖНА ЖЕНЩИНА

Ни одна муха
утром не будит —
грязным, настырным жужжаньем.
Никакого звяканья в кухне,
ни капли воды на полу,
а под лавкой
ничего не набросано.

Так тихо,
что даже медь почернела
и лишайником затянулись окна.

И нету ни одного обидного слова,
скорого, будто спичка:
чтобы ночью
всё до утра простилось тебе,
до утра —
когда снова кухня и двор
переполнятся проголодавшейся живностью.

И по ночам
нету этого сожаления,
что вот ведь какую жизнь себе схлопотал,
привел же в дом горемыку;
и нету обиды,
что очень уж ей далеко до тех,

кого видишь по телевизору
или во сне.

Кукутис теперь и снов не смотрит:
так не хватает этого сожаления,
капель на полу земляном
и голодной скотины,—
господи! вот уже сколько лет
ни одна муха не заводится в доме!..
Только возьмешься про это думать —
еще сильней сжимается сердце.

КОБЫЛКА В УХЕ КУКУТИСА

В ухе Кукутиса
ночью
завелась молодая кобылка.
От радости скачет она
и копытами бьет
в барабанные перепонки.
И слышит Кукутис
ее непристойное ржанье.

Он думает: как некрасиво,
схожу-ка я к доктору,
пусть он кобылку из уха достанет.
Но как объясню,
откуда животное в ухе?

Как неудобно
перед знакомыми,
перед детьми,
перед этой красивой и правильной жизнью,
где всюду такие чудесные занавески
и такие сверкающие паркеты!

И затаился Кукутис —
но от этого
стало еще неудобней.
Он думал:
господи, не приведи,

если помру —
что за гадость найдут в моем ухе!

И начал Кукутис бояться смерти:
автомобилей,
телег,
и комбайнов,
и молотилок.
Господи, не приведи —
если умрет он:
что за мерзость отыщется в ухе!

КУКУТИС ИЗБИВАЕТ СВОЮ СМЕРТЬ

Смерть моя,
до чего же ты старая стала!
Совсем износилась —
ходишь со спущенными чулками,
а за тобой
ковыляет
немецкий
кожаный ридикюль.

На кого ты похожа теперь:
неопрятная,
дряхлая,
смрадная.
Твои падучие волосы
на руки мне навиваются,
когда пытаюсь тебя избить —
и тянусь из другого угла
моей хаты.

А ты опять
прячешься где-то рядом:
ночами,
когда надрывается Мюнхен,
слышу — за стенкой
неизвестно кому
сообщаешь прокуренным голосом

всю мою жизнь,
все мои горести и боленья...

Прифронтовая гулящая девка,
ведь это ты
соблазняла убитых,
глядя
в их стекленеющие глаза,
или — вполголоса напевая —
срывала цветы на лугу
с невидящих лиц солдатских.

Уже ты пошла по рукам,
по державам,
по всем рубежам
и линиям фронта;
ты позабыла
белых братьев своих —
они среди поля стоят, опираясь на косы,
стариков позабыла —
их медленные прощанья,
детишек оставила без присмотра,
бледных — как потухшие свечи...
А чахоточным,
а кормилицам,
а нерожденным младенцам,
а всем бездомным —
не досталось
твоих ласкающих глаз!

Может, помнишь еще,
моя девочка смерть,
когда молодые мы были —
как ты нежно любила меня,

как щебетала,
шептала —
чистая,
как нарисованная богоматерь.

А в кого ты теперь превратилась!
Помнишь, как я кончался от тифа:
ты приникла ко мне твердой девичьей грудью,
нá руки налегла,
чтобы я не смог прикоснуться
к моей фотографии,
присланной с неба.

А теперь, я гляжу,
ты снова ко мне вернулась,
а сама-то совсем полиняла...
Все подбираешься,
играешь со мной в гляделки,
тайком отворачивая лицо
и торопливо
запираясь в своем уголке.

КУКУТИС ИЗБЕГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Праздничной осенью
едет Кукутис картофельным полем
и видит:
лежит на дороге мертвый кочан,
угодивший под чьи-то колеса,
и валяется пьяный мешок.

На куче картошки
сидит Антосе
и скалит зубы:
— Возьми мое сердце в жены —
оно у меня уже совершеннолетнее!

Кукутис притворился,
будто не слышит,
и ну погонять лошадей.
— Все они так говорят,
а когда пробираешься к сердцу,
приходится лифчик расстегивать,
им же только того и надо!
А потом отвечай за все,
точно ты кого обокрал
или там изувечил.

Но как лошадей ни хлестал он,
висела перед глазами,
будто картина:

широкая белозубая
улыбка Антосе,
а вокруг —
прозрачные волосы,
как льняные очески
вокруг бесстыдного солнца.

Было так сладко
и до бешенства горько.
И так он стремился вперед,
будто лошади мчали назад —
к светлому
расплывшемуся лицу Антосе,
туда, где мешки-забулдыги
валяются в чахлой ботве.

ВЕЛИКОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ В ЖИЗНИ КУКУТИСА

— Видно, я нездоров,—
размышляет Кукутис,—
только проснусь,
начинаю думать о женщинах,—
даже стыдно
детям в глаза поглядеть.

— Никогда,— говорит сам себе Кукутис,—
никогда,
если буду и дальше про это думать,
не сравняюсь с теми,
которые по телевизору
так беззаветно работают
или очень красиво поют.
За что мне такие мысли,
которые нужно от ребятишек прятать?

— Ерунда,— ему говорят,—
надо работать
от зари до зари,
тогда и не будешь мыслей своих стыдиться —
вся эта задумчивость сразу пройдет.

И начал Кукутис работать
от зари до зари,
каждый день,
перевыполнил всю работу

и перед смертью сам удивился:
сколько он дров нарубил,
в стены гвоздей назабивал,
сена скоту наготовил!

А умер —
и все прошло,
и стало ему спокойно:
— Вот полегчало,
так уж полегчало!
Кончились эти противные мысли!
Теперь мне уже не придется прятать глаза,
когда прибегут ребятишки
и станут свечечки зажигать
у меня на могиле.

КАК ХОРОНИТЬ КУКУТИСА?

Как его хоронить:
отцепить деревянную ногу
или оставить?

Нет, по правде:
отцепить — или как?
Может, оставить?

Где инструкция?
А как поступали,
производя захороненье убогих?
Быть может, следует
к ноге приложить
объяснительную записку:
что подумают,
если когда-нибудь в этом месте
город решат возводить,
станут рыть котлован
и откопают полуистлевшую деревяшку,
несчастную деревяшку —
и более ничего?!

И ударит во всех
запахом неизвестного века,
скрипом телеги, груженной навозом,
хихиканьем разгоряченной молодки,
потной крестьянской душой,—

а самой-то души и не будет,
ни молодки,
ни той телеги...

В день скончания света
одна
или вместе
придет, притопает деревяшка,
в день скончания света
придет ли она забрать
окончательно утвержденную правду?

И как она будет судима —
со всеми одна живыми и мертвыми
или вместе
со всеми мертвыми и живыми
в день скончания света?

Ну так что же:
ее отцепить или нет?
Отцепить
или так оставить?

ЗАВЕЩАНИЕ КУКУТИСА

Никогда не привыкну не быть:
когда умирать мне придется,
руки свяжите, а самое лучшее —
примкните меня к постели,—
боюсь, как бы я, умирая, себя не убил
от страха, что умираю.

Никогда не привыкну не быть:
свяжите мне руки вожжами,
на ноги навалите колоду,
как будто я пойманный рекрут —
рядом охрану поставьте, чтобы себе
ничего я не сделал плохого.

Никогда не привыкну не быть:
зареву, точно раненый бык, и уйду,
и буду, обрастая лохмотьями, хорониться во ржи,
буду разбойничать по ночам, и вдовам
буду являться, как пленный; пока не схватят
и не свезут в Жувялишки на погост.

Никогда не привыкну не быть:
кинусь в Ригу за шапкой,

за косой поеду в Жагаре,
в Тильзит[1] за газетой отправлюсь —
только бы мне умереть подальше
от собственной смерти.

[1] Жагаре — городок в северной Литве, на границе с Латвией (и на стыке двух исторических областей — Жемайтии и Аукштайтии); Тильзит — город на Немане (ныне Советск).

ЖЕНЩИНЫ В ЖУВЯЛИШКАХ ОПЛАКИВАЮТ КУКУТИСА

— Женщины! Женщины!
Как нам жить без Кукутиса,
как без него звенеть нашим ведрам?

Кто перед жатвой
устроит свидание
серпу — с рукояткой?
Кто сделает, чтобы соединились
пестрые бабочки
с цветками картошки?

От кого теперь
телочки наши узнают,
что пора им быть поласковее с бычками:
а то ведь начнут
заглядываться
на самосвалы и самолеты.

— Чем теперь
квасить капусту,
как тесто замешивать?
Женщины!
Женщины!
Без него
из нас не получатся женщины!..

КУКУТИС НА СВОИХ ПОХОРОНАХ

Проснулся утром Кукутис
и видит себя
мертвого — рядом с собою.

Изба нетоплена,
и видно сквозь двери —
на заснеженной горке
режут свинью для поминок.

Женщины за столом
большими ножами
что-то ищут
в раскрытых легких.

И видит Кукутис
в одном окне:
опускается аэроплан,
и взлетают вороны в испуге.

В другое окно,
приплюснув носы к стеклу,
смотрят
бурятские дети.

А в кухонном окне —
вблизи Ниагарского водопада
по Кукутису

плачут
родные,
при этом они опираются на машины
и очень ярко
фотографируются.

Подумал Кукутис:
как все красиво,
как жалеют меня,
как хорошо говорят,—
наверно,
дадут мне премию,
руку пожмут
или похвалят
на высоком всемирном собрании...

КУКУТИС ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА

Кукутис открывает глаза
сразу
в Жувялишках, в Варшаве, в Париже.

Открывает глаза —
и в Жувялишках
видит ворону,
а в Варшаве, он видит,—
та ворона уже взлетает,
а в Париже — с криком уносится вдаль.

И Кукутис пугается не на шутку:
он ли это —
один и тот же
открывает глаза
и видит сразу
одну и ту же ворону
в Жувялишках, в Варшаве, в Париже?

И вообще:
дозволяется ли такое —
одному человеку
сразу
просыпаться
в Жувялишках, в Варшаве, в Париже?

ПОЭТ ЖАН ТАРДЬЕ ЗНАКОМИТ КУКУТИСА С ГОСПОДИНОМ МЕСЬЕ МЕСЬЕ МЕСЬЕ МЕСЬЕ И Т. П.

Месье приподнимает шляпу,
а Месье глядит сквозь очки.
Месье протягивает руку,
а Месье отражается в зеркале.

Но ведь он же еще и Месье Месье
и Месье! Месье! Месье!

Когда Месье говорит,
Месье Месье слушает,
а Месье Месье Месье
сразу и говорит, и слушает,
и еще раскланивается,
приговаривая:
Месье Месье Месье Месье...

Он в одно и то же мгновение
смотрит,
улыбается,
повязывает галстук,
беседует,
носит подтяжки,
жмет руку,
отражается в зеркале,
видит Кукутиса и т. п.

Месье, который смотрит,
это тот Месье, который беседует,
тот, который беседует,
это тот, который носит подтяжки,
а тот, который носит подтяжки,
это тот, который жмет руку Кукутису
и произносит при этом
Месье Месье Месье Месье Месье и т. п.

Моргает Кукутис,
не успевая пожать руку тому,
кто сразу способен на столькое:
и говорить,
и носить подтяжки,
и улыбаться,
и отражаться в зеркале,
и еще —
при этом при всем —
проживать в Париже!

«КУКУТИС», КИНОИДИЛЛИЯ

Мне не надо жать и сеять:
сны мои полны всего.
На душе просторно — все ведь
птицы сели за село.

Утро делаю теленку,
Неману кую зарю
и, заснят на кинопленку,
на себя с экрана зрю.

Воздух мне зарплату пишет,
с обязательных небес
намагниченная пища
валится не без

грохота. Про домочадца
рассуждаю, как про ношу,
а лучи в окно стучатся,
соответствуя прогнозу.

Говорят мне, чем питаюсь,
как я счастлив — знаю сам,
все события пытаюсь
втолковать ленивым снам.

То ль меня помянут лихом,
то ли — ждет меня успех.
Нет, не надо быть счастливым,
чтобы быть счастливей всех.

В небе жаворонки скошены,
подоспел воздушный хлеб.
Обязательный, размноженный,
я вполне великолеп - - -

КУКУТИС В ВИЛЬНЮСЕ

— Какой удивительный Вильнюс!
На одной из его окраин
стоит, переминается аист,
а на другой —
слышно, как он щелкает клювом.
В одной стороне столицы
рожь пожинают,
в другой —
вяжут снопы.

Какой нескончаемый Вильнюс!
Он все идет и идет полями
по Литве:
вдоль Дубисы,
через Луоке[1],
по Жемайтии —
до самого моря!

---

[1] Дуби́са — река в Литве, правый приток Немана. Луо́ке — местечко в Жемайтии, недалеко от границы с Аукштайтией (Северо-Восточной Литвой).

КУКУТИС В ЧАС «ПИК» ЕДЕТ НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Сдавлен со всех сторон,
едет Кукутис, довольный,
и мыслит:
— Какое это удобство —
едешь, и никому не важно,
зачем это едешь,
а вдруг ты что-нибудь
некрасивое наговорил,
или билета не взял,
или едешь кого-нибудь грабить.

Никто не посмотрит,
сколько тебе годов,
какие глаза у тебя,
кто родные твои,
зачем ты приехал, откуда?
И вообще:
ты живой
или так себе едешь?

И никто не заметит,
если в какой-нибудь день
ты не сядешь совсем на троллейбус.
Никто не ворвется в дом
и не потребует объяснений:
— Почему ты не едешь, как все?

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ!

Нельзя допустить,
чтобы Кукутис — верхом на возу —
проталкивался
в стеклянную дверь гастронома,
чтобы на Кафедральную площадь
он созывал
голодных свиней!

Нельзя допустить,
чтобы он, забросив косу на плечо,
в самолет поднимался по трапу,
а также —
в цветном телевизоре
ходил босиком,
да еще в сопровождении кур —
белых, как облако!

Нельзя допустить,
чтобы в актовом зале
он солому крошил
для подтелка,
а также —
по дороге домой из плена,
во дворе филармонии
записывал имена желающих
полежать на нарах!

Нельзя допустить,
чтобы в столичном парке
отбивали косу,
подковывали кобылу,
а также —
на «Лебединое озеро»
являлись,
подпоясавшись двуручной пилой!

Нельзя допустить,
чтобы гнедая лошадка
у дверей ювелирного магазина
оставляла навозную кучу,
в которую обязательно вляпается
самая-самая миленькая
из вильнюсских барышень!

ДРАЗНИЛКА ДЛЯ КУКУТИСА

Каков его гонор,
таков и говор,
а каков боров,
таков и норов.

Как было мило,
так и солнце било,
как пошли ливни,
так и мы влипли.

Как буркнул «пойду, мол»,
так он и подумал,
как занят не делом,
так и глядел он.

Как брал коромысла,
так он и кормился,
как куда ехал,
так пел и кумекал.

Как дроги летели,
так и недели,
как упал обух,
так и смерть о бок.

Как пахло благом,
так он и плакал,
так и сказал он,
как — не сказал он.

КУКУТИС СМОТРИТ НА СТЮАРДЕССУ

Чуть она взглянет,—
какой у меня некрасивый рот,
какой же я весь перекошенный,
как я неумно припадаю на правую ногу
при посадке в воздушный лайнер!..

Чуть на меня посмотрит,—
какие в моей избе немытые окна,
какой несвежий воздух в хлеву,
а на дворе у меня сколько навоза,
как я противно сплю —
с такими нечистыми снами!..

Как мне самому нечисто,
когда приходится есть таким некрасивым ртом,—
ведь я же вижу,
как она удаляется спать,
как выпархивает —
словно танцует —
из таких прозрачных нейлонов!

КУКУТИС НАСТАВЛЯЕТ РЕБЕНКА, КАК ГЛАДИТЬ ЛОСЯ

Вот подождем зимы,
выпадет много снега,
и будут бродить по лесам
голодные лоси.

— Тогда будет можно погладить?

Нет,
надо насыпать сена,
под сеном пристроить петли
и ждать —
терпеливо, долго.

— И тогда будет можно гладить?

Что ты! Сперва потерпи немного,
пусть он запутается в петле...

— И будет можно погладить?

Гладить пока опасно!
Ведь лось — это зверь.

Он будет хрипеть и биться.
Его голову надо пригнуть к земле
и крепко связать ему ноги.

Потом он затихнет — и только тогда
может дитя подойти
и нежно его погладить...

ЖИЗНЬ КУКУТИСА

Эту жизнь я себе сам смастерил,
и вся эта жизнь — про меня.

Строгал, и точил, и пахал, и молол —
и получилась такая жизнь
о доме моем,
обо всем, что было и стало.

Эта жизнь —
о заботах,
мешающих спать по ночам,
о телятах,
которые перед казнью
лизали мне руки,—
о моих же слезах,
когда плакал от горького неразумения:
кто я —
пьяный или несчастный?

Хотел себе рай смастерить,
а вышла обыкновенная жизнь —
про себя самого.
И больше я ничего не могу
хорошего и заметного:
за что ни берусь —
все равно получается жизнь.

КУКУТИС ЕДЕТ ПО ЖЕМАЙТИЙСКОМУ ТРАКТУ

Едет Кукутис и видит:
— Как похожа Литва на Литву!
Березы! Как походят они на березы!
А небо! Оно такое литовское,
совершенно такое,
как небеса над Литвой!

Как это все же случилось:
Литву
не отличишь от Литвы —
все, что подумаешь или вспомнишь,
походит всегда на Литву.

Озадаченный этим сходством,
он цедит зерно меж пальцев,
крошит серую землю,
глядит на расколотый камень,
глядит и не знает:
откуда она берется,
эта похожесть
Литвы на Литву?

И никто не сумел истребить это сходство:
столько войн прокатилось —
все равно уцелело небо,
похожее на Литву.

Нет,— решает Кукутис,—
даже если куда уедешь,
все, о чем ни помыслишь,
будет похожее на Литву:
на небеса,
на зерна,
утекающие меж пальцев,
на свекольное поле,
где женщины — как цветы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВЧЕРА И ВСЕГДА

Икар и пахарь. *Перевод Д. Самойлова* 5

Последняя летняя ночь. *Перевод Г. Ефремова* . . 7

«Мысли мои, голубые просторы...» *Перевод А. Давыдова* 8

«Пахнут цвета и руки...» *Перевод Г. Ефремова* . . 9

«Скрипит журавель деревянный...» *Перевод А. Давыдова* 10

«Если я дерево...» *Перевод Г. Ефремова* 11

«На руках трудовых...» *Перевод Д. Самойлова* . . 12

«Шум старых деревьев...» *Перевод А. Давыдова* . 13

«Выйду и буду искать...» *Перевод Г. Ефремова* . 14

«Уже догнать я не сумею...» *Перевод А. Давыдова* . 15

«Оправданий нет у меня...» *Перевод Д. Самойлова* . 16

Перед ливнем. *Перевод Г. Ефремова* 17

«Скоро, скоро...» *Перевод Г. Ефремова* 18

«На свежий, до сини отстиранный день...» *Перевод Г. Ефремова* 20

В солнечный день. *Перевод А. Давыдова* . . . 21
«Как устану...» *Перевод Д. Самойлова* 22
Близость. *Перевод Г. Ефремова* 23
Штопая варежку погибшего сына. *(Поминальное рыдание) Перевод Н. Сидориной* 24
«Осенью...» *Перевод Д. Самойлова* 25
«Все пропитано осенним ядом...» *Перевод Г. Ефремова* 26
«Беда — когда звон тишины...» *Перевод Д. Самойлова* 27
«Ты не мои глаза видишь...» *Перевод А. Давыдова* 28
«Распогодилось, как по доброму слову...» *Перевод Д. Самойлова* 29
Вчера и всегда. *Перевод Г. Ефремова* 30
«Какие чистые дни...» *Перевод Г. Ефремова* . . . 31
«Какой огромный день у меня...» *Перевод Г. Ефремова* 32
«Нет, там не пожар и не детство...» *Перевод Д. Самойлова* 34
«Погоди, слеза, еще не время...» *Перевод Г. Ефремова* 35
«Руками я не вижу в темноте...» *Перевод Д. Самойлова* 37
Дети играют в беду. *Перевод Г. Ефремова* . . . 38
«Гляжу, как будто я чахоточный...» *Перевод Г. Ефремова* 39
«Я выронил мысль...» *Перевод А. Давыдова* . . . 41
Вечный мост. *Перевод Г. Ефремова* 42

«Моя душа не ведает...» *Перевод Д. Самойлова* . 43
«Дождь неустанный...» *Перевод Г. Ефремова* . . 44
«Глазами беглеца гляжу...» *Перевод Г. Ефремова* . 45
«Снег такой...» *Перевод Г. Ефремова* 48
«Воскресенье из тебя получится...» *Перевод Д. Самойлова* 49
«Не раскрыла глаз еще весна...» *Перевод А. Давыдова* 50
«Солнце сквозь облако...» *Перевод Д. Самойлова* . 51
«Липовым прутиком...» *Перевод Д. Самойлова*. 52
«Ты придумай мне огонь и вечер...» *Перевод Г. Ефремова* 53
«У жизни короткой...» *Перевод Д. Самойлова* . . . 54
Воспоминание. *Перевод Д. Самойлова* 55
Дети словно трава. *Перевод Д. Самойлова* . . . 56
«Неужели я опять — ничей...» *Перевод Г. Ефремова* 58
Фрагмент. *Перевод Г. Ефремова* 60
«Ты свяжи мне, мама...» *Перевод Г. Ефремова* . . 61
«Вечер прилажу к вечеру...» *Перевод Г. Ефремова* 62
«Время течет беззвучно...» *Перевод Д. Самойлова* . 63
Слова спящему ребенку. *Перевод Г. Ефремова* . 64
«Ты — земледелица — душа...» *Перевод Д. Самойлова и Г. Ефремова* 65
«Длинный-длинный рассветный хлеб...» *Перевод Г. Ефремова* 66
«Как зреют вишни в Сувалькии...» *Перевод Г. Ефремова* 67

Ступени во ржи. *Перевод А. Давыдова* 68
В осенних просторах. *Перевод Г. Ефремова* . . . 69
«Встает поутру...» *Перевод Д. Самойлова* . . . 70
«Спасибо, отчизна...» *Перевод А. Давыдова* . . . 72
«Если глаза мои вырвут...» *Перевод Г. Ефремова* . 73
«Как поле — прямых тополей...» *Перевод Г. Ефремова* 76
Пробуждение в ржаном поле. *Перевод Г. Ефремова* 77
«Три песни у матери было...» *Перевод Г. Ефремова* . 78
«В багровом отсвете страды...» *Перевод А. Давыдова* 79
Рожь. *Перевод Г. Ефремова* 80
«Разошлись мои годы...» *Перевод Г. Ефремова* . . 81
Горбик. *Перевод Г. Ефремова* 82
Жертва. *Перевод Д. Самойлова* 83
По санному пути через Варняй. *Перевод Г. Ефремова* 84
«Моя вина — моя страна...» *Перевод Г. Ефремова* . 87
Плач по божьей коровке *(Летний сон). Перевод Г. Ефремова* 89
Жувялис. Рыбак-рыбачок. *Перевод Д. Самойлова* . 91
Сигуте у реки. *Перевод Г. Ефремова* 93
Плач глупенькой Онуле. *Перевод Г. Ефремова* . . 94
Жемайтийский тракт. *Перевод Г. Ефремова* . . . 95

2. БАЛЛАДЫ КУКУТИСА. *Перевод Г. Ефремова*

Ночь у жемайтийца Кукутиса 99
Всемирная боль в оторванной ноге Кукутиса . . . 102

Плач Кукутиса под небесами . . . 104
Бесплодный хлеб Кукутиса 106
Слова Кукутиса во времена третьего рейха . . . 109
Кукутис за решеткой 110
Инструкция для Кукутиса, отпущенного на волю . 111
Последний день Кукутиса 112
Сознание отчуждается от Кукутиса 113
И Земля уходит в небо 115
Кукутис предназначается для всемирной выставки . 116
Кукутис едет быстро 120
Полное смятение у Кукутиса 122
Проповедь Кукутиса в свинарнике . 124
Кукутис вразумляется 126
Сказка, которую я сочинил, чтобы развеселить повешенного Кукутиса 128
Кукутис просит о выделении единовременного пособия 131
У Кукутиса поет ласточка 133
Кукутис хочет увидеть отчизну 134
Кукутис беседует со своей жизнью 136
Кукутис рассказывает о своей избе 138
Сожаление о Кукутисе темной ветреной ночью . 140
Никчемная припевка Кукутиса . . . 142
Эксперимент 143
Всесилье Кукутиса 146
Кукутис шлет письменный запрос в Вильнюс . . 149
Грешная душа Кукутиса 150
Кукутису нужна женщина . . 152
Кобылка в ухе Кукутиса . . . 154

Кукутис избивает свою смерть . . 156
Кукутис избегает ответственности 159
Великое облегчение в жизни Кукутиса 161
Как хоронить Кукутиса? 163
Завещание Кукутиса 165
Женщины в Жувялишках оплакивают Кукутиса 167
Кукутис на своих похоронах 168
Кукутис открывает глаза 170
Поэт Жан Тардье знакомит Кукутиса с господином Месье Месье Месье Месье и т. п. . . . 171
«Кукутис», киноидиллия 173
Кукутис в Вильнюсе 175
Кукутис в час «пик» едет на троллейбусе . . . 176
Нельзя допустить 177
Дразнилка для Кукутиса 179
Кукутис смотрит на стюардессу 180
Кукутис наставляет ребенка, как гладить лося . . 181
Жизнь Кукутиса 183
Кукутис едет по Жемайтийскому тракту . . . 184

Марцелиюс-Теодорас Изидорович
Мартинайтис

БАЛЛАДЫ КУКУТИСА

М., «Советский писатель», 1983, 192 стр.
План выпуска 1983 г. № 319

Редактор *Э. В. Балашов*
Худож. редактор *Д. С. Мухин*
Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*
Корректор *Т. Н. Гуляева*

ИБ № 3625

Сдано в набор 08.12.82. Подписано к печати 28.02.83. А 04022. Формат 70×108 1/32. Бумага офсетная. Литерат. гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 5,14. Тираж 10 000 экз. Заказ № 939. Цена 60 коп.

Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109

60 коп.



